

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

АЛЬМАНАХ

ДО И
ПОСЛЕ

4

БЕРЛИН * 2000

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
АЛЬМАНАХ



ДО
И

ПОСЛЕ

БЕРЛИН

2000

Авторы,
члены Клуба литературы и искусства
при Треффпункте «ХАТИКВА»
(Oranienburger str. 31),
выражают сердечную благодарность
руководству Берлинского отделения ZWST,
господину Иосифу Варди
за содействие и поддержку
в издании альманаха.

Редколлегия:
Л. Бердичевский, Е. Гескина, Г. Ляховицкая,
А. Ходорковский, Д. Яновский

Обложка: Л. Бердичевский
Макет: В. Демидов

Типография издательства NG Verlag
Tel.: (030) 4442460
Fax: (030) 44739165

© (см. Оглавление) 2000
Все права сохраняются

ISBN 5-89138-003-8

ПОЭЗИЯ

И ПРОЗА

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

Из цикла «Листья»

Собран вместе дворницкой метлой
листьев ворох.
Слышится их схожий с ворожкой
шепот-шорох.
Так ведут беседу не спеша
в непогоду.
Кажется, у листьев есть душа
и невзгоды.
Вроде бы им хочется сказать
всё о многом,
прежде, чем отправиться опять
по дорогам.
Видимо, из них большой костер
дворник сложит...
Может быть, несу я просто вздор,
брежу, может.
Мне они, однако, по душе,
я их слышу.
Нахожусь, как листья, в тираже,
в той же нише.

ОДА В ЗАЩИТУ ОДНОЙ РИФМЫ

Ах, эта рифма – «кровь-любовь»,
она оскомину набила.
Её твердят поэты вновь, –
возможно, есть в ней боль и сила.

Как много разных рифм и слов,
вокруг парящих будто птицы.
Но эта рифма – «кровь-любовь» –
всегда к поэзии стремится.

Ах, эта рифма – «кровь-любовь»
летит как брызги от фонтана.
Она и тёща, и свекровь –
назойлива и постоянна.

И как ты ей ни прекословь,
она сумеет распалиться.
Простая рифма – «кровь-любовь» –
давно уж притча во языцах.

Ах, эта рифма – «кровь-любовь»
порой значительней и лучше,
чем весь мучительный улов
кривлянья слогов и созвучий.

Мой критик! Сколько ни злословь,
не потешайся – всё напрасно.
Без древней рифмы – «кровь-любовь» -
стихи умолкнут и погаснут.

КАПЛЯ

...а день уже почти погас.
Заря по-прежнему алела.
Земля в вечерний тихий час
о капле влаги сожалела.
И многодневный желтый зной
ложился горечью на душу.
Мечталось каплей дождевой
навязчивость жары нарушить.

А капля не спешила вниз.
Она порхала в легкой туче.
Чтоб всем преподнести сюрприз,
она ждала удобный случай.
И случай грянул, в самый раз,
назло удушливой лавине.
Он совершенным стал, как глас –
Глас Вопиющего в Пустыне...
И капля разом всех смогла
перенести в объятия рая.
Прохладой душу оплела
одна лишь капля дождевая.

Лиле и Дане Яновским

Не разрешен и не погашен
конфликт реальности с мечтой.
И грез витиеватый строй
воображение тешит наше.
И в каждом, что ни говори
и как ни проявляй ретивость,
живет, нисколько не противясь,
частица Эммы Боварн...

НОЧНАЯ РАПСОДИЯ

Небо ниже и ниже,
как гигантская тень.
Всей прохладой лижет
угасающий день.
Даже, кажется, может
урезонить луну...
Подгоняет прохожих.
Создает тишину.
Усмиряет собою
непокорность ветров,
наказав тишиною

резвость колоколов...
Сердце не марширует.
Мысли сходят на нет.
Уронил рифмы всеу
оробевший поэт.
Ночь диктует влюбленным
утолить свою страсть.
И затем просветленно
в меланхолию впасть...
Жаль, что на полуслове
виснет шепотный стон.
Всякий без суесловий
тишиной вдохновен...
Замирают машины.
Затишают дома.
Вот какие картины
уготовила тьма.
И дневные разборы
больше не превозмочь...
Опускаются шторы -
это царствует ночь.

ЗВУК

Смеется и плачет встревоженный звук.
Он явно отбился сегодня от рук...
То, как беспризорный, бесцельно бредет –
горяч, как жаровня, морожен, как лед.
То чушь несусветную сеет вокруг,
то ласков и нежен, то крайне упруг.
То виолончелью, то альтом вздохнет,
гортанно расскажет смешной анекдот.
Сопит, как астматик, свистит, как шальной,
прикинется шлюхой и грустной вдовой...
Ворвался ко мне он средь белого дня.
Ночлег обеспечил в груди у меня.

Из цикла «Прощание с XX веком»

М. Энгштейну

Укрепляется только в сознании миф,
а реальность событий почти эфемерна.
Где, к примеру, слова, что когда-то Юдифь
обращала в сердцах к голове Олоферна?

Так и век наш провалится в небытие.
Позабудется все, что нам подвигом мнится.
Каркнет горько в пространство о нас воронье.
И утонет, как в вихре исчезла крупица.

Для потомков останется призрачный миф
о войне и о бунте, о топках и гетто -
современной трагедии скорбный мотив...
Но с годами и он затеряется где-то.

Для нас не спели Алконост и Сирин.
По-прежнему мы все на вираже...
Двадцатый век исчерпан, обессилен.
И Двадцать первый на пути уже.

Не торопись! Ты для меня некстати.
Попридержи молодцеватый бег.
Двадцатый я по мелочам растратил,
Но не готов я в Двадцать первый век.

Дай мне спокойно подвести итоги
И разобрать свои черновики.
Дай подлечить ушибы и ожоги
И душу снять с заржавленной тоски.

Двадцатый был питомником косилен.
Сутяга был, мерзавец и прохвост.
Пускай о нем тоскует только Сирин.
За упокой рыдает Алконост.

РОМАНСЫ БЕЗ СЛОВ

Сигналы из снов и воображенья –
Романсы без слов и стихосложенья,
без нотных оков и данных вокальных,
не нужен им кров индивидуальный.
Особый задор приносит ликуя
пощечин мажор, минор поцелуя...

Романсы без слов достаточно гибки –
то взрывы басов, то жалобы скрипки.
А виолончель и смех саксофона
сажают на мель усилья тромбона.
Басит контрабас и фортепиано
пускается в пляс особенно рьяно...

Они без прикрас и без напряженья,
как лишний балласт, не пользуют пенья.
Основой основ у них междометья.
Романсы без слов... хотел бы их спеть я.

Начинает с понедельника пробег
новый долгожданный двадцать первый век.
Распахнёт ли он нам настезь ворота –
хлебом-солью или взмахами кнута?
Скажем гордо: «В прошлом веке родились!» –
в новом веке свой сыграем бенефис.
Что случилось. Кто встречался на пути?
Наш потомок сам об этом рассуди...
Как теперь ни извивайся, ни фиглярь,
вот такой нам с вами выпал календарь.
Двадцать первый век готовит нам сюрприз –

лабиринтов-передряг через дефис.
Ну, посмотрим. Будем жить коль не помрём.
Ведь мы нынче точно знаем, что почём.
...начинает с понедельника отсчёт
в новом двадцать первом веке первый год.

«Мы с тобой на кухне посидим»
О. Мандельштам, 1931

Мы с тобой на кухне тихо посидим.
Много в нашей жизни было скучных зим.

Ты от лета ждешь чего-нибудь ещё.
Слышишь, форточку терзает сквознячок.

Я прошу тебя, веселия не жди.
Впереди у нас унылые дожди.

Незадачливый привычный листопад.
Чтение вслух и мысли вовсе невпопад.

Ты заметишь, глядя ночью из окна, —
Бродит по небу латунная луна.

Я хотел бы, чтоб твои почаще сны
Посещали сновидения весны.

Мы с тобой зимою тихо отдохнем
И спокойно поразмыслим о своем.

ЕЛЕНА ЕЩЕНКО

Будничное происшествие

Посетитель уже пятнадцать минут ждал хозяина гаража. Прогорел глушитель, и в первую, лучшую половину рабочего дня он приехал в гараж. Осталось полтора часа до ежедневного meeting в кабинете его шефа, а он медитировал у стойки для клиентов.

Через открытую дверь мужчина видел плавно работающий подъемник и молодого мексиканца в синем комбинезоне, важно стоящего у пульта. Парень был высокий, с раскосыми глазами. Его прическа была похожа на нейлоновый парик, аккуратно приклеенный к голове. «Атакующая внешность, – оценил человек у стойки, – яростный брюнет.» Все мужчины, которых он подозревал в том, что они спят с его женой, были темноволосыми. А тот, с которым она целовалась в своей машине, припаркованной возле университета, был мексиканец.

Механик неторопливо принялся откручивать гайки кронштейнов, успевая болтать по-испански с кем-то в глубине гаража. Человека у стойки раздражали сюсюкающие согласные.

В нагрудном кармане запищал телефон. Он достал его и посмотрел на табло опознавания. Шеф любил иногда напомнить, что проститутки работают без

выходных. Телефон не определял звонившего.

– Hallo, – сказал мужчина, начиная догадываться. В телефоне молчали.

– Да, – повторил он на родном языке.

– Можно мне поговорить с тобой? – спросил женский голос.

– Я занят, – ответил он. Стало слышно, как в ее квартире говорит по-немецки диктор.

– Почему? – выдохнула она.

– Я в гараже с утра, машинку лечу, – терпеливо объяснил он. – Ну, пока.

«Господи боже мой, когда же это кончится», – думал он, пряча телефон. Наверное, он должен был сказать ей несколько слов. Он вспомнил, как она однажды назвала митингом ежедневное собрание у шефа, и улыбнулся. Ничего, скоро забудет о митингах в своей новой стране.

Он не услышал, как подошел хозяин гаража. Счет был на неожиданно большую сумму.

– Что-то медленно ваш мальчик крутит гайки, нет в нем задора юности, – пожаловался посетитель, радуясь своей способности шутить на чужом языке. Всего в жизни он добился сам. Его место в разумном обществе оплачено работой. Таким, как он, не дают социальных пособий. «Бог дал, – говорила когда-то женщина, – талант и удачу дал Бог.»

Какой „бог“ ? Маг, написавший несколько популярных книг, жрец с огромной силой воли?

– Я работаю по одиннадцать часов в сутки и не верю ни во что, – произнес он вслух, подписывая бумаги.

– Я тоже слежу за каждым до закрытия, – неожиданно для клиента ответил хозяин гаража. – Если бы не это, здесь бы гайки не найти.

Человеку у стойки показалось, что хозяин произнес эти слова горделиво, и он подумал, что понимает это чувство.

Телефонная мелодия отвлекла его от этой мысли.

– Да, – повторил он раздраженно.

– Не забудь, что у меня семинар, – сказала жена.

– Конечно, – ответил он спокойнее.

Сына нужно будет забрать после волейбола, вспомнил он. Она учится правильно дышать у знаменитого целителя.

Механик подогнал машину и протянул ключи. Неприятно было мимолетное прикосновение к влажной руке парня. Уют кожаного нутра машины показался нарушенным только что сидевшим здесь потным красавцем. Мужчина резко вставил ключ в замок зажигания и сильно вдавил газ, забыв про стояночный тормоз. Машина дернулась и заглохла.

– Полегче, мистер. Повторите полегче, – посоветовал мексиканец.

Мужчина завел машину снова и, кивнув работающей, выехал из ворот гаража. «Потливость лишает парня равных возможностей», – мысленно иронизировал он, поворачивая на свое обычное двести восьмое шоссе. Впереди было пятнадцать-двадцать минут езды, две длинные развязки, и пора было сосредоточиться на другом. Но равновесие не наступало. Он не любил размышлять о состоявшемся, окаменевшем. Оно должно оседать на дно, не мешая сегодняшнему потоку. Прошлое превращает в старика. Со времен Фу Си и пирамид людям советуют не думать о движении времени. Это так просто – не вспоминать о своем возрасте, не смотреться в зеркала, забыть о днях рождения, не тяготиться прошлым. Боже мой, как хорошо это удастся его жене: равно не бояться ни прошлого, ни будущего, жить сейчас. «Я не хочу стать домоседкой вроде тебя, – говорила она ему, – мы с жизнью влюблены.» Было время, когда он искал что-то за этим бесконечным инфантилизмом, усмехнулся мужчина, следя за указателями с правой стороны дороги. Она учится всю жизнь, у нее два диплома, но она никогда ни-

чем не интересовалась по-настоящему, в том числе и им. Особенно им. Она даже не хотела рожать. Он вспомнил ее выкрики в тот день, когда врач поздравил ее. Она и теперь утверждает, что секс ассоциируется с деторождением; после редкой благосклонности моется так долго, что он сам начинает чувствовать себя отвратительным.

Неожиданно водитель заметил в правом зеркале полууплывшее назад ответвление нужного поворота сразу за огромной бетонной опорой моста дорожной развязки. Он ездил по этой дороге почти три года, с тех пор как начал по счастливому стечению обстоятельств работать в “American computer“, и ни разу не пропустил этот поворот.

– Да что со мной сегодня такое?! – закричал он на родном языке и, вывернув руль вправо, резко притормозил. Машина развернулась поперек дороги. «Что я делаю?» – успел подумать он, ожидая бокового удара. На мгновение он забыл, что весь утренний час пик провел в гараже. Шоссе уже стало полупустым.

Какой-то парень остановил машину и спросил, перегнувшись через правое сиденье, не нужна ли помощь. Мужчина поблагодарил, выпрямившись и ощутив спиной мокрую рубашку и налипшие на шею волосы.

– Все ОК, спасибо! – повторил он и помахал рукой, словно доказывая это, медленно отъехал к обочине и остановился, включив аварийные огни. Опора моста была слишком близко, и стоянка, конечно же, запрещена. Но ему хотелось немного прийти в себя, выпить воды, подождать, пока успокоится колотящееся где-то в горле сердце.

Он положил руки на руль и оперся лбом на кисть руки. Он ни о чем не думал, сидя в машине с опущенным верхом. Солнце грело его сквозь влажную рубашку. Несколько минут он просидел так, глядя вниз, на глазки приборов, на педали, на розоватый шрам на колене.

Он разбил ногу, поскользнувшись возле отеля на мокрой от дождя со снегом берлинской мостовой. Не спасли ни мелкие камешки, заботливо насыпанные поверх обледенелого тротуара, ни ботинки с толстой грубой подошвой. Женщина облепила его ногу пластырем, утешая, как ребенка.

– Я поцелую твою коленку десять раз и все пройдет, – заговаривала она ранку. Все равно на простынях оставался след – он не чувствовал боли, и она стирала их, чтобы горничная не заметила крови. Он знал, что женщина была счастлива с ним, видел, как быстро она прилепилась к нему, и был рад ее счастью.

На третий день он улетел домой, добираясь, с двумя пересадками, почти двадцать часов. Жена встретила его в аэропорту. Он заранее знал все, что она может сказать о его желании спрятаться от проблем и стремлении к иллюзиям, какие примеры из собственной жизни осторожно приведет. Они любили одни и те же книги о психологии. Он ощутил ее напряжение; ее мужество вызывало умиление. В тот вечер он домогался ее долго, как в юности, и ее запах снова казался ему родным.

Мужчина чувствовал себя умиротворенным, солнце высушило рубашку на спине и ветерок перестал холодить. Он любил этот южный ветерок с нежным запахом, всякий раз немного иным из-за поочередно расцветающих круглый год душистых, диковинных, дружелюбных растений. Эта земля казалась чудом. Не зря калифорнийцы так уверены в том, что побывавший здесь однажды обязательно вернется, не сможет забыть ни прижавшегося к скалам бугристого океана, ни пушистой, разноликой, то торжественной из-за редкостных деревьев, то озорной, прозрачной зелени; ни терпеливо и точно пристроенных в пространстве мостов, домов, дорог; ни ясного небушка над всей этой декорацией к бесконечной истории о счастье.

Он ощутил какую-то дремоту, – а подремать он не позволял себе в такое время суток много лет, – и заставил себя завести машину. Его путь на работу удлинился на полчаса. До ближайшего перешейка между двумя четырехрядными полосами шоссе оказалось примерно пятнадцать минут, и хорошо, что никто не вызвал полицию, тогда на объяснения ушла бы вся лучшая, первая половина дня.

Фати

В промозглое декабрьское ненастье камни мостовой становятся неуютными. Фасады вдоль надземного метро похожи на обгрызенные грязные скалы. Усердные огоньки кондитерских манят, как глаза девушек с Фробенштрассе. Брезгливые люди садятся теснее в метро. Но ехать на работу приятнее, чем сидеть на социале. Ира была избранницей судьбы, которая не поставила ее, как восьмопараграфных подруг, к конвейеру со скользкой картонной тарой, не вручила ей навечно перчатки и швабру путцфрау. Она привела ее, потрепав нервы в приемных комиссиях престижных вебдизайнерских курсов и высокомерных Народных школ западной части города, в скромное шпильхалле в Веддинге. Ира понравилась хозяйке заведения и прижилась за кассой и кофемашиной, проработав бесплатно неделю. Она отдраила загаженные непосредственными арабскими и турецкими посетителями плитки в крохотном туалете, бегала по залу с разменной купюрой в руках вдвое быстрее своей напарницы и изо всех сил улыбалась клиентам, коротающим вечера около одноруких бандитов.

«Русские» шпильхалле Берлина отличаются от немецких, как русская рулетка от обыкновенной-сте-

пенью риска. В «русских» шпильхалле, где идет нелегальная игра на деньги, проигрывают квартирные митты, зарплаты пекарей и чернорабочих, здесь обретают торговцы дроггом, одинокие программисты, безработные грузчики и те, чьей жизнью руководит «Sucht», который они не в силах усмирить.

Любимцем шпильхалле был Фати. Хозяйка обожала его за тысячные проигрыши, мелкие игроки уважали его. Они спорили за право сесть около наполненного его деньгами игрового автомата, надеясь на программу, обязанную отдавать шестьдесят процентов проглоченного .

Ира угадывала его появление. Высокий, смуглый, похожий на итальянского мафиози из старого кинофильма, он ловко усаживался на крутящийся стул около «игрушки» и сидел так часами, подзывая ее, чтобы попросить кофе или разменять очередную сотню. Низкий хриплый голос его напоминал о канувшем, о заснеженном русском городе ее детства, о спившемся на родном любимце с неразлучной гитарой.

Однажды он спросил, как ее зовут.

– Дай мне свой телефон, Ирэн, я приду к тебе пить кофе.

– Ты же забыл про флору, – удивилась она. – Сначала дарят цветы, потом можем пойти на выставку Пикассо.

– У меня нет времени, – растолковал он, – и неохота на выставку.

– Мы должны сначала разговаривать, погулять в парке, я ведь не проститутка, понимаешь? – терпеливо поучала она. Он был младше ее на десять лет.

– Разве я сказал, что ты проститутка? Он отвернул лицо от экрана. На левой щеке был тонкий шрам. Непонятно зачем ему достались загнутые кверху жесткие ресницы.

– У меня есть дочь, – пояснила она, – не могу же я привести тебя сразу домой.

– Сколько лет?

– Кому?

– Дочери.

– Пять, – солгала она. Приведи такого красавца домой, и пятнадцатилетняя Наташка пропадет.

– Постой около меня, – приказал он. – Мне везет, когда ты рядом.

Она стояла возле него, пока в халле не зашел пожилой турок в обносках, сумасшедший Хусеин, проигрывающий в автоматах монеты, выпрошенные у соплеменников. Все сидевшие в зале повернули головы, наблюдая за ним. Он разговаривал со сверкающим огоньками аппаратом, прикладывая ладонь к окошку, в котором крутились судьбоносные барабаны. Точно так же делали все игроки, они гладили «игрушки», как желанных женщин, но безумие Хусеина вызывало насмешки. Он обошел зал, предлагая играющим людям где-то украденные часы. Маркус, проигрывающий свое пособие безработного дотла, грубый Али, матерящийся почему-то по-русски, Франк, выбегающий с телефоном в руках на улицу, чтобы мать, на чьи деньги он каждый вечер играл, не догадалась, где он сейчас, смеялись над идиотом. Ира украдкой подошла к столику с припасами и налила в стаканчик колы, которую Хусеин любил, и так же тихо вернулась к автомату, где играл Фати. Их не было видно из-за хозяйского стола. Хусеин подошел, втянув голову и показал Фати часы. Фати что-то ласково сказал по-турецки, отвел его руку и дал ему несколько монет из горки, лежащей на столешнице.

«Бог мостов не строит», – твердила она про себя, бредя ночью пешком от Цоо. Тень жизни шуршала в городе, люди стояли на остановках ночного автобуса, где-то плакала сирена. “Кудамм” сиял рождественскими огнями, и еловый дух заглушал вонь курицы от ее одежды. Дома она сразу вывешивала пальто на балкон и не ложилась спать, пока не смывала с себя

этот злой запах азарта, постоянный привкус игры.

Но Бог создает шедевры, переполненные осязаемым теплом, жажда которого заслоняет разум. Его тело невозможно было забыть.

– Ты похож на статую Праксителя, кочевник, – бормотала она, целуя его живот. Накануне пришлось посмотреть это слово в тяжелом словаре.

– Кто это? – вежливо поинтересовался он. Кокаиновая муть не горчила в жилах, ради женщины он терпел уже несколько часов, и разговор немного отвлек его.

– Это греческий скульптор. Я свожу тебя в Пергамон.

– Греки наглые. Знаешь лавку Попандопулоса? Мама говорит, он ей ни разу правильно не взвесил. Она перестала к нему ходить, так он перестал здороваться с ней. Мне пора идти.

Она знала, что плакать нельзя, но свет рекламы из окна выдал ее.

– Перестань, это нехорошо, мы не дети, – важно сказал он.

– Ты придешь еще? Смешно, что я пристаю к тебе, мальчик?

– Я позвоню.

Она видела, как он гибко опустился на сиденье остывшей машины, слышала со второго этажа, что он включил музыку и понял: впервые за полтора года наплевать на соседей. Не было сил ни звонить подружке, у которой ночевала Наташка, ни думать о завтрашнем разговоре с хозяйкой халле о недостающих в кассе семи марках. Нелепое число, не похожее ни на «глюкгельд», подарок игроку величиной в десять процентов от разменной им суммы, ни на незаписанный хозяйственный расход на бумажные полотенца или мыло для посуды. Хозяйка халле, грузная пятидесятилетняя женщина, была бережливой. Не было в халле большего греха, чем налитая в стакан выше вто-

рого сверху ободка кола. Она так краснела, выдавая выигрыши, что Ира опасалась инфаркта. Хозяйка любила деньги великой любовью обделенной женщины. В конце дня, пересчитав, она нежно перебирала разноцветные бумажки мясистыми пальчиками, укладывая их рыльце к рыльцу в ящики кассы, радуясь каждой улыбке возлюбленной Шумана на крупной купюре или мужественному лику Вилли Брандта в серебряном кружке. Страшно было думать о двадцати годах, проведенных ею в халлях, о собранных среди ошметков чужих страстей грошах, на которые она купила свое дело. Ее одинокое мужество и трудолюбие вызывали уважение, но Ира боялась смотреть ей в глаза.

Утром, пылесосая халле, меняя пепельницы и протирая аппараты экономно порванными пополам бумажными полотенцами, Ира молчала, слушая монолог хозяйки о ротозеях-работниках, разоряющих халле.

– Я не могу тебе доверять, я хотела поехать в отпуск, я не отдыхала шесть лет, – набирал высоту звенящий хозяйкин голос.

– Роза, вы ведь прекрасно знаете, что я отвечаю за недостачу в кассе, – осмелела Ира. Впереди был Новый год, у Наташки до сих пор нет пальто, и они так мечтали об этом идиотском шкафе, но что-то толкнуло выключить пылесос и проговорить дерзость. – И я хочу у вас работать. Ведь даже вы иногда ошибаетесь, с вашим опытом. Но если вы скажете, что я не годюсь для этого ремесла, то я попытаюсь поискать что-то до Рождества .

– Я еще не решила! Я купила билет в Мексику, надеясь на тебя, а ты думаешь о чем-то постороннем... Кругом проблемы, эти игроки посходили с ума, Томас стал ходить к Маршаллу, Фати обкурился и разбился ночью насмерть на машине, представляешь? Мы потеряли самых сильных игроков за пару дней! На что

я буду платить митту помещения, на что я стану жить?!
Что такое с тобой? Куда ты собралась? Что тебе нужно от пальто?

Ира пошла к ближайшей станции метро. Над черепичными крышами, слепя после норы игорного зала, висело затянутое бельмом облаков солнце. Совершенно незачем было идти три остановки пешком, чтобы немного проветрить одежду, – по утрам она открывала затемненные окна халле, и запах азарта, остывшей страсти, едкий запах курева не успел пропитать ее.

ПЁТР ЗАМАНСКИЙ

Эпитафия с панегириком

Свеча в лампаде догорала.
В гробу лежал XX век.
Его без скорби провожала
толпа бездомных и калек.
Ни благодарственной молитвы,
ни слёз, ни памятных цветов.
Он шёл в могилу с поля битвы
и оставлял на память кровь.
А начинал он жить с надежды
и веры в светлый луч судьбы.
Но бесноватые невежды
его зачислили в рабы.
А он склонился перед силой
и голос правды не вознёс,
и до конца, и до могилы
служил, как служит верный пёс.
Не утверждённый конкордатом,
а злобным меченый тавром,
он стал им преданным солдатом
и бессловесным палачом.
И балансируя на бритве,
не приняв тернии творца,
кончая, начинал он битвы –
им просто не было конца!
И кровью заливало сушу.
И слёзы полнили моря.

И в печи шли людские души.
А век всё строил лагеря.
И обносил колючкой ржавой,
надев пудовые замки...
Всё безнаказанно.
Державы
играли с веком в поддавки!
Нет, не в тиши – в дыму угарном,
для чёрной битвы взяв разбег, –
он уходил.
За что же, век,
тебе должна быть благодарна
толпа бездомных и калек?
Но верится, наступит время –
раскрепощённый час придёт.
И человеческое племя
увидит солнечный восход,
всем осветивший, как на длани,
сад рая, а не поле брани.

В часы коротких сновидений
я каждый раз встречался с ним.
Несчастья вестник, добрый гений –
кто он? Не знаю.
Аноним –
он возникал, как изваянье,
из ничего, из пустоты.
Лицо в расплывчатом тумане,
не разобрать его черты;
босой, в каком-то странном платье...
Держа в одной руке кинжал,
он подходил к моей кровати
и то хвалил, то проклинал.
А вот кого? За что? – не знаю.
И я метался, как в бреду,
и слышал шёпот:
...Исчезаю...
но завтра в ночь к тебе приду...
И приходил. И ни на малость
не изменялось ничего.

Всё повторялось, повторялось,
и снова в шёпоте его,
в бреду я слышал:
исчезаю...
Но завтра в ночь к тебе приду...
Кто он? Откуда? Я не знаю.
Но новой встречи ожидаю.
На радость или на беду?

МАЛЬВИНА ЗОР

Толща лет ждала прикосновенья –
И качнулся маятник извне,
И душа моя пришла в движенье,
И дорога улыбнулась мне.

Вдох – и выдох. Пальцы-перекладины
На стремянке жизни ты мне дал.
Отдохну в тепле ладонной впадины,
Выйду на запястья перевал.

У реки-прожилки легче дышится,
Направленье ускоряет шаг.
На ходу целую вену-ижицу
Не зачем-нибудь, а просто так.

Не споткнуться, не упасть, не прянуть,
Инстинктивный импульс пульса прав.
Сумасшедший, энергичный, пряный
Запах пота или запах трав?

Не могу и не хочу остановиться,
Почва под ногами горяча...
Пробегу по мостику ключицы,
Улечу за горизонт плеча.

Раздался звук в телесной чаше,
Пространство дрогнуло, и вот
Порыв пронзительно щемящий
Раскачивает сердца плод.

Мембраны чувств не успокоить
И ритмы пульса не унять.
Нам напряжение такое
Не выдержать. И вот опять

Задеты струны сухожилий,
И нервных струн прекрасна боль.
Звучим всюду, насквозь, навывлет,
Звучим и поперек, и вдоль.

Желания бездонна полость –
Не жарче Еву звал Адам!
Мы мчимся, обгоняя голос,
По телефонным проводам.

Пространство, чистая бумага,
Еще пустынно на земле ничьей.
А семени коснется влага –
И выются стебли «панычей» –

Изгибы строчек, вензеля живые,
Сплетенья мыслей, рук и чувств.
Соцветья счастья голубые –
Исток наивный всех искусств.

Растут признанья без оглядки,
Желанья зреют без греха
И окружает письма-грядки
Живая изгородь стиха.

КРУГЛОЕ

Арсену

Свивает ночь гнездо в пространстве,
Вплетающем в узор живой
Вас, возвращенного из странствий,
И молний всплеск не шаровой,

Круги в глазах и под глазами,
Распахнутыми до круга;
В руке полупрозрачный камень.
Ядро любимого тепла.

Овал луны и звезд проколы
Не видят улетевший день,
Жар предвкушения веселый
И сердца красную мишень.

Кружится жизни доминанта,
Нас подставляя под удар.
В ладонях ласковых атлантов –
Майоликовый желтый шар.

Остаться нам опять одним бы,
Но взгляд луны в окне горяч...
Хотят соединиться нимбы,
А между ними – синий мяч.

Былого плаваются основы
И покрываются долги;
От брошенного Вами слова
В душе расходятся круги.

И в обостренном восприятии
Вдруг растворилось все вокруг...
Обвенчаны кольцом объятья,
Двойным кольцом из теплых рук.

Жара и пыль, песок и скалы,
И воздух – будто из стекла...
Как долго я тебя искала!
Как долго я тебя ждала!

Еще чуть-чуть – и будет чудо:
С моей сольется тень твоя.
Не знаю, кто ты и откуда,
Стою, дыханье затая.

Не сотвори себе кумира,
Хочу, чтоб ты мне ровней стал,
И молча на задворках мира
Я разрушаю пьедестал.

И если так угодно Богу,
Я из разбросанных камней
Прямую проложу дорогу,
Что приведет тебя ко мне.

Зачем Матисс, зачем Есенин?
Зачем стихи писать в альбом?
На белом – розовые тени
И синие – на голубом,

И шен лебедей – как сердце,
Как будто нет иных проблем?
Пастель и роза, вздох и скерцо –
Зачем, зачем, зачем, зачем?

И целованья рук обычай,
И чудо радуги вдали?..
Для всей романтики и кича
Мы объяснение нашли.

Стекая с неба вишней пьяной,
Закатный луч для нас горит,
Шопена первый фортепьянный
О нас с тобою говорит.

...А я люблю момент прощанья –
Тысячекратный листьев взмах,
Их возвратиться обещанье
В одетых воздухом ветвях.

Еще люблю момент прощенья -
Из легких ветра – легкий вздох;
Внезапных ливней ощущение
И ощущение: «С нами Бог!»

Предрассветные сумерки юны,
Тонок свет законного мира,
И тумана ползущие дюны
Обнимают пейзажи квартиры:

Неприступные выступы шкафа
Приникают к стене-невидимке,
Спит настольная лампа-жирфа,
спит долина стола в теплой дымке.

Шторы на водопады похожи,
Что стекают по дремлющей раме,
Пары тифель-зверюшек в прихожей
Так доверчиво трутся носами...

Одиночество женское остро
Ощущается только ночами,
И кровати загадочный остров
Скоро солнце затопит лучами!

Милый номер набираю
Всемогущею рукой,
Замираю, оживаю,
Принимаю голос твой.

Как роса, текут по стеблю
Позвоночника слова,
Лучезарно, не колеблясь,
Удивленные сперва.

Расставанье – не помеха,
Расстоянье – ерунда.
Эхо вздоха, эхо смеха,
Эхо – чистая вода.

Безграничные улыбки:
«Здравствуй, запад, я – восток!»
Несказанный, мощный, зыбкий
Нас несет любви поток.

Водопад воспоминаний
Возвращает вкус ночей,
Тает акварель дыханий,
Убегает речь-ручей.

Опускает нас разлука
В ожидания купель...
Радость ритма, радость звука –
Телефонная капель.

МАРГАРИТА И^Х

Однажды ночью

Умаялась я за день, в первом часу ночи наконец-то легла. Только уснула – звонок в дверь, звонили долго, настойчиво, пришлось открыть. Подруга Илона ворвалась в квартиру.

– Маргарита, уложи сумку, в пять утра уезжаем в Гамбург!

– Чего я там не видела?

– Как чего? Там замечательные проститутки!

– Замечательных проституток мне хватает в Берлине. И куда я дену кошку?

– Отнеси к дочке.

– К дочке нельзя. Её кошка Вика грызётся с моей Мими.

– Никто из моих подруг не умеет воспитывать детей! Нарожали эгоистов, теперь даже кошку приютить негде! Ладно, сейчас позвоню Монике...

Эту Моника, школьную подругу Илоны, я знала. Много лет назад, при разводе, Монике достался зоомагазин. В этом деле, как, впрочем, и во всех делах, Моника ничего не смыслила, животные у неё разбежались, остались только белые крысы. Они постоянно разгрызали клетки и убегали в келлер на свидание к серым, возвращаясь, рожали симпатичных серо-бе-

ших крысят, окрасом похожих на мраморных догов. Эти гибриды быстро вошли в моду, любители крыс их охотно раскупали, магазин процветал. Вот к этим крысам Илона решила пристроить мою Мими. К сожалению, я смогла прослушать только часть разговора Илоны с Моникой:

– Ну и что, что поздно? Как так не можешь? Ты что, забыла, что списывала у меня контрольные по физике? Забыла, как я наврала твоей маме, что в Новом году ты ночевала у меня? Ты тогда обещала, что весь век будешь мне благодарна! Я единственный раз в жизни прошу приютить бедное животное на одну ночь, так ты не можешь!.. Что?.. Кошки крыс не едят, ты и этого не знаешь, зверовод называется! В общем, мы сейчас едем!

И мне:

– Давай корзинку! У тебя нет корзинки? Шайзе! Тогда носи какой-нибудь чемодан!

– Какого-нибудь у меня нет. У меня есть дедушкин чемодан. С этим чемоданом в 1878 году мой дедушка ездил из Германии в Польшу свататься к моей бабушке. А когда я родилась, у родителей не было денег на коляску, и я два первых месяца жила в этом чемодане.

– Ладно, тащи его, только быстрее! Хватит истории рассказывать!..

Я притащила ободранный чемодан размером с письменный стол. Илона проковыряла в нём дырки для воздуха, чем окончательно изуродовала семейную реликвию.

С Мими так никто никогда не обращался, и она залезать в чемодан отказывалась, орала, шипела и кусалась. Илона возмутилась:

– Она у тебя просто бешеная, ты даже кошку воспитать не можешь!

– Знаешь, Илона, если бы тебя ночью неизвестно за что запихивали в камеру предварительного заклю-

чения, ты бы тоже не молчала!

В конце концов нам удалось засунуть кошку. Мы закрыли чемодан. Под ручку чемодана Илона просунула зонтик, мы ухватились за его концы и потащились в Нойкёльн.

Честно говоря, я думала, что мы вызовем такси, но Илона в очередной раз взорвалась:

– На социале сидишь, а кошек на такси возить собираешься.

– Но магазин ведь так далеко!

Илона съязвила:

– Можешь устроить кошку поближе? Тогда пойдем к твоей доченьке!

Мы тащили чемодан по тёмным улицам, было скользко, шёл колючий снег. Я шла и думала: может, это хорошо, что Мими дня два поживёт с крысами. Может, они её чему-нибудь полезному научат? Моникины крысы половину времени посвящали еде, а половину туалету. Они очень интеллигентно кушали тараканов: брали двумя лапками и грызли, словно сухарики. Ясно, что прокормить кошку тараканами будет дешевле, чем «Вискасом», да и посмотреть, как правильно умываться, Мими тоже будет полезно.

Мы шли уже около часа, руки замёрзли. Чемодан с каждым шагом становился тяжелее.

Мими прекратила орать – наверное, уснула.

Вдруг от стены отделилась фигура полицейского. Очевидно, две небрежно одетые женщины, волокущие в сторону реки огромный чемодан, привлекли его внимание. Приближался он медленной кошачьей походкой, с ликующим выражением глаз, похоже, предчувствуя, что ему удастся раскрыть крупное преступление:

– Чем могу быть полезен двум очаровательным дамам?

Илона зашипела:

– Отвечай ему на каком хочешь языке. Если я это

сделаю, нас оштрафуют на двести марок. Такое со мной уже было. Ненавижу полицейских!

Я принялась подыскивать слова, Илона, не дождаввшись, выпалила:

– Единственное, что Вы можете для нас сделать, это обратиться к чертовой бабушке и дать нам пройти.

Ее слова полицейский проигнорировал и попросил открыть чемодан. Я отказалась. Илона объяснила, что в чемодане у нас животное, оно может проснуться и заорать так, что разбудит весь район. Полицейский прищурился и ехидно спросил:

– Откуда животное? Из зоопарка?

Наконец мне удалось сформулировать ответ:

– Из дому.

Полицейский становился непреклонным:

– Милые дамы, у меня есть право потребовать открыть чемодан.

Вдруг Илона кокетливо поправила шарфик и шепнула:

– Открой, он, вообще-то, мужик интересный...

Я открыла. Мими проснулась и завопила с новой силой, Илона заворковала:

– Это кошка моей подруги, её зовут Мими, она ужасно невоспитанная, орать может до утра. Мы её несём в магазин, там крысы.

– Милые дамы, кошки крыс не едят.

– Что Вы говорите? Мы этого не знали. Не могли бы Вы немного проводить нас, мы боимся темноты.

На удивление, полицейский сразу согласился, они с Илоной ухватились за зонтик и быстро пошли вперёд. С трудом я их догнала:

– Илона, а как же наша поездка?

– Какая ещё поездка? В Гамбург? Чего ты там не видела? Проституток? Так там баб к проституткам не пускают, там всё для мужиков. Послушай, Маргарита, ты сегодня какая-то странная, очень плохо выглядишь. И кошка у тебя усталая. Вам надо вернуться

домой и лечь спать.

Я прижала к себе Мими и пошла домой, вдруг вспомнила про чемодан. Обернувшись, увидела их, они волокли пустой чемодан и мило флиртовали. Я крикнула:

– Илона, ты когда вернёшь мне чемодан?

Но она не услышала. Мими высунула головку, ползала мокрый воротник, – наверное, хотела пить. Дома я вскипятила чайник, согрелась и подумала: «И точно: зачем мне эти гамбургские проститутки?»

Зануда

Звонит подруга Маша:

– Помнишь, я тебе говорила, ну, про того, что из Франкфурта? Вспомни его параметры! Нет, объявление не в «Европа-центр», – в «Русском Берлине». Вспомнила? Представляешь, приехал, свалился, как снег на голову, с зонтом и чемоданом, а я не одна, ведь суббота. Пришлось дать ему твой адрес. К тебе поехал, полпридержи его маленько. Завтра, в крайнем случае, послезавтра, я его заберу.

У моей подруги хобби. Она выписывает из газет адреса одиноких мужчин, желающих жениться, и оповещает одиноких женщин. Ко всему этому я отношусь отрицательно, но, поняв, что ситуация критическая, согласилась.

Вскоре позвонили в дверь. Открываю, вижу застрявший огромный зонт и, стоящего за ним, немолодого лысоватого мужчину. Мужчина пытается протиснуться в дверь, но зонт не пускает. Предлагаю закрыть зонт:

– Галина Сергеевна, сейчас это сделать невозможно. Закрыть зонт можно только после того, как вы-

сохнет материя, иначе он испортится.

С трудом уговорила закрыть зонт и войти. Он, не снимая плаща, вытащил из сумки подшивку газет «Русский Берлин»:

В этой газете много полезных сведений. Я решила подарить вам один номер, прочтите и убедитесь сами. Я узнал, что у вас на днях день рождения, примите от меня этот подарок.

Оригинально, на день рождения мне никогда еще старых газет не дарили. Я сказала, что мне очень приятно..

Сумку он внес в комнату и вынул из нее два черных полиэтиленовых пакета. Я начиталась детективов, к черным пакетам отношусь настороженно. Засунула пакеты ему под кровать – если что, пусть взрывается первым.

Гостя положено кормить, спрашиваю:

Что вам приготовить?

Выясняется: мяса он не ест, потому что неизвестно, из какой оно страны; рыбу не ест, потому что эскимосы питаются преимущественно рыбой, из-за этого часто болеют; яиц не ест, потому что в корм курам добавляют стимуляторы роста...

- Неужели вы огорчитесь, если у вас что-нибудь вырастет?

Обиженно поджимает губы:

- В таком фривольном тоне я с женщинами не люблю разговаривать.

Предложила сварить картошку.

- А в чем?

- Как в чем. В кастрюле.

- Она чистая? Покажите, пожалуйста!

Засекла время. Двадцать четыре минуты он чистил в общем-то чистую кастрюлю.

Тут же позвонила подругам:

- Если есть грязные сковородки или кастрюли,несите немедленно.

В результате за семь дней пребывания он очистил три моих кастрюли и четыре сковородки моих подруг. Дошла, наконец-то, очередь до черных пакетов, в каждом оказалось по прибору для измерения артериального давления. Спрашиваю, почему два?

– Второй прибор необходим для элиминирования ошибок.

Я аж задохнулась:

– Чего, чего? !..

– Элиминирование – это устранение ошибок для увеличения точности измерений.

Чтобы увеличить элиминирование, я принесла еще свой тонометр. На трех тонометрах мы до утра мерили его артериальное давление, определяли ошибки, вычисляли погрешности. В результате, у меня давление повысилось, а у него оказалось нормальным.

Наутро пришли подруги, принесли сковородки. Тут обнаружилось, что мой гость великий мастер комплиментов. Каждая из подруг, уходя, получала в подарок комплимент:

– Ваши ноги от колен и ниже изящнее, чем у моей бывшей жены.

– Моя бывшая жена не смогла бы выкрасить волосы в столь волнующий цвет.

Я все думала, какая у него была жена? Спросила:

– Вы с ней спали?

– Нерегулярно, я был очень занят на работе.

Гость был профессором истории...

На второй день я услышала:

– Простите, Галина Сергеевна, у вас имеются пробелы в знаниях всеобщей истории. Придется серьезно заниматься. Начнем с государства Урарту!

К концу недели добрались до Французской революции. Израиль не проходили, его в учебниках, которые он когда-то читал, не было. Занятия прекратились после моего вопроса спросонья: «А когда Конвент женился?!»

Как-то я легла спать рано и забыла на кухонном столе надкусанный бутерброд. Наутро обнаружила, что стол перегорожен бутылками на две части: его чистую, и мою, как он считал, сомнительной чистоты. Бутылки были с растительным маслом. О существовании бутылок с другим содержимым он, видимо, не подозревал.

Пытка продолжалась. Беру телефонную трубку:

Я вынужден сделать вам замечание: звонить лучше вечером, сейчас высокий тариф. Деньги надо экономить.

Открываю стиральную машину, он тут как тут:

Стирать бельё надо при сорока градусах, а не при шестидесяти.

А то уж совсем:

Помидоры надо мыть с мылом.

Несколько раз готова была доставить себе превеликое удовольствие и выложить всё, что я об этом думаю, но стеснялась. Позвонила Маше:

Ты слыхала о таком замечательном монгольском обычае? Если путник подъезжает на коне к юрте, женщины поят его коня, гостя кормят и обеспечивают высочайшим сервисом. Но только три дня! А на четвёртый напоминают гостю, что его престарелый отец всё смотрит на дорогу, а жена, ожидаячи, выплакала все слёзы. Если гость не понимает, его перестают кормить. Я тебе не Перекусихина, пробир-дама при Матушке Екатерине! У твоих адресатов параметры и скорость проверять не собираюсь! Немедленно приезжай и забирай историка!

...На прощанье гость, заботливо глядя на меня, произнёс:

Тяжеловато вам одной, а? Давайте, познакомлю вас с моим другом, он тоже профессор, но, должен предупредить, ужасный зануда...

ЛЕОНИД КАЦ

О «Протоколах сионских мудрецов»

Прошли года, но жив проклятый миф
О «Протоколах мудрецов Сиона»,
Придуманный еще во время оно,
Он лжив, бездарен и насквозь фальшив..

В попытке всех евреев очернить,
Направить гнев на вечного еврея -
Те «Протоколы» - грязная затея
Забыв про совесть, желчь свою излить.

Кто с Нилусом смакует этот бред?
Петен, Васильев, КГБ и Штази,
Дега, Дрюмон, князь Эстергази
И Розенберг. Каков букет!

Услада современных дикарей.
Опора и отрада юдофоба.
Пером их авторов водила злоба...
Не лучше, но не хуже всех еврей.

О юморе

А который из них настоящий -
Юмор матовый или блестящий?
Ведь блестящий для пониманья

Часто требует больше вниманья,
Юмор с матом - его антипод,
Он грубее, но легче дойдет.

Четверостишия

Идея и оправданная практика представления стихов в виде самостоятельных четверостиший принадлежит поэту Игорю Губерману. Для них он и придумал название - ГАРРИКИ. У его идеи появилось множество сторонников и продолжателей. Здесь представлена попытка стать в строй этих подражателей и, по примеру И. Губермана, дать нарицательное имя стихам. Под таким именем они и приняты, к примеру, в газете «Русский Берлин».

Итак:

КАЦИКИ

Один из сюрпризов
Двадцатого века:
Диван, телевизор -
И нет человека.

Незавиден наш удел
И неважно наше дело:
Мы дошли до беспредела,
Но и это – не предел.

Не стоят гроша
Порывы души:
Да, жизнь хороша,
Но и мы хороши.

Уж нет ветров, мороз забыт,
Длинней деньки, короче ночи.
Пришла весна, набухли почки
И печень тоже барахлит.

Это не моя заслуга,
Что люблю супругу друга.
Как и нет моей вины,
Что не люб мне друг жены.

Как сказал один эстет, —
Некрасивых женщин нет:
Женщины красивы,
Если не ленивы.

Как много пишется сейчас,
Что вредно, мол, курение...
И интерес к нему угас,
И я забросил чтение.

— Породиста ль ваша собака?
Такие короткие ноги!
— Да, коротки ноги, однако
Они достают до дороги!

В народе есть присловье
О том, «что есть здоровье?»
Ответ известен наперед:
Меж двух болезней эпизод!

Насилия и формы различны.
С двумя из них каждый знаком:
Вот, первая форма – Приличия,
Вторая – конечно, Закон.

Знаю точно, что не прав ты,
Мифы детства позабыв,
Потому что всякий миф –
Лишь одна из версий правды.

Обратим на то внимание
(здесь не может быть двух мнений),
Что от критики влияния
Ни один не умер гений.

МИХАИЛ ЛУРЬЕ

Ещё раз о любви

Некоторые говорят, что в наше время нет настоящей любви. Но я говорю, что она есть, и даже двух видов: взаимная и безответная.

Безответная любовь – грустное и безнадежное чувство: словно сидишь на лошади в карусели и гонишься за своей любовью. Она время от времени поворачивается, улыбается, но что бы ты ни сделал и как бы ни старался, расстояние между вашими лошадьми никогда не сократится. Ты кричишь и плачешь в отчаянии, понимая свою беспомощность. Но вот тур заканчивается, и ты выходишь, так как надо уступить место другим, желающим покататься. Отдохнув от карусельной ошалелости, садишься на свою собственную лошадь и едешь, теперь уже сам выбирая направление к новой карусели.

Во взаимной любви примерно та же ситуация, только вы вдвоем сидите на одной карусельной лошади..

Но знайте, что со временем может стать скучно ездить вдвоем по кругу. Однако, теперь не так просто будет остановить раскрутившуюся карусель. Да и ваша лошадь могла уже ускакать.

Зеркало

Каждый день мы видим себя в зеркале.
Видим синяки под глазами и выражение лица,
которое меняется.
Но себя самого мы не видим.
Мы видим себя так, как нас видят другие.
Но иногда кто-то подставит нам зеркало к само-
му лицу,
И тогда мы посмотрим пристальнее.
И подумаем: «Это не я, мне неправильное зерка-
ло дали».
Так мы никогда и не узнаем, как выглядим по-
настоящему.

Учитель – это магнитофон.
А хороший учитель – это тот, кто время от вре-
мени меняет пленку.

*Автор – Миша Лурье –
ученик гимназии. Ему 15 лет.*

СЕМЁН ЛУРЬЕ

Сиреневый цвет Романс

Этот мягкий сиреневый цвет
для меня как целебное средство,
и махровой сирени букет
успокаивал с самого детства.

Впасть в отчаянье мне не давал,
подавляя душевные боли,
для меня он звучал, как сигнал
отрешиться от грустной бемоли.

Я б сиреневым цветом всегда
изукрашивал все непременно,
чтобы розы и лебеда
были взяты сиреневым пленом,
и сиреневым – облака,
и сиреневым – волны морские.
Вот тогда бы наверняка
стали легче заботы мирские...

Ах, как легкий сиреневый вальс
закружил нас с тобой, дорогая!
Свет любимых сиреневых глаз
мне и боль, и печаль утоляет.

И когда беспощадный наш рок
устремится неожиданно навстречу,
я приму твой последний глоток,
словно милость, сиреневый вечер.

Домик с окнами в сад

Романс

В домик с окнами в сад, чтоб увидеться с мамой,
Приезжал в Подмоскowie, в свою колыбель –
Дом, в котором окно с перекошенной рамой, –
В летний солнечный день, и в грозу, и в метель.

Вспоминал я о нем и в тылу, и на фронте,
Часто видел во сне, тосковал наяву.
И с тревогой на сердце, и в душевном полете
С детства этим я жил, нынче с этим живу.

Я приеду опять приобщиться к покою,
Добротой и теплом насладиться сполна.
В домик с окнами в сад, где вдали за рекою
Шаловливая ночью гуляет луна.

Этот домик мне с детства был подарен судьбою.
Много лет погода убеждаюсь я вновь,
Что душевный покой тесно связан с тобою.
Благодарность прими, и поклон, и любовь.

Неожиданно и навсегда

Романс

Ароматом веселого лета,
соком юности вся налита,
ты вошла ко мне солнечным светом –
неожиданно и навсегда...

Ты бываешь: и нежной, и кроткой,
и податлива ты, и тверда.
Очарован я легкой походкой –
неожиданно и навсегда...

Хоть со временем я убедился:
есть теплынь в жизни и холода,
и без памяти снова влюбился –
неожиданно и навсегда...

Ревность есть у тебя и терпенье,
неприступна порой и горда,
ты бываешь полна удивленья –
неожиданна и молода.

Неотправленное письмо

Романс

Вам не понять – вы не любили,
и, не узнав душевных мук,
себя вы сами осудили
на жизнь без встреч и без разлук.

Не испытали оскорблений,
не шли с поникшей головой,
и без малейших сожалений,
вы счастливы своей судьбой

Неоднократно отвергали
любовь и преданность друзей,
и никому не предлагали
вы руку помощи своей...

Вы, как и прежде, одиноки
и смотрите легко вокруг.
Лишь за окошком клен высокий –
единственный ваш верный друг.

К поэзии

Леониду Бердичевскому

Поэзия без мысли не живет,
как узник, задыхаясь без свободы.
Стихами совершаются походы
в дремучий лес и звездный небосвод.

Парит над суетливою землей.
Объединяет родственные души.
Несется над морями и над сушей
и приглашает к пристани иной.

Она всегда находится в пути
от сердца к сердцу и от дома к дому.
От робких взглядов к молнии и грому,
се скитанья могут привести.

Мне мыслится, всегда один поэт,
другому рвется передать поэту
свое волнение, точно эстафету,
свой пыл души, дыхание и свет.

Поэзия без сердца не жива
в стремительности жизни быстротечной.
И остаются в памяти навечно
ее необходимые слова.

Вдвоём

Мы вдвоём с тараканом сидим.
Мировые решаем проблемы.
И усами вдвоём шевелим,
Обсуждаем с ним разные темы.

Вместе с ним на прогулку идём.
Смотрим в оба на встречных прохожих.
Так всегда мы, обычно вдвоём,
Критикуем знакомые рожи.

Вот понравился нам господин.
Мы его все равно не похвалим.
Он как многие. Он не один,
не хватает в нем важной детали.

Он брюнет. Он высок и суров.
Будто только сошел он с экрана...
У него не хватает усов,
Как у маленького таракана.

ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ

Закат и поэт

триптих

Ранний вечер – собрание последствий.
Длинный день отшумел и погас.
Притомилось, набегавшись, детство –
засыпает под плавный рассказ.
Небывалое в нём достоверней,
чем на камне впечатанный след.
От нее, этой сказки вечерней,
начинается в детстве поэт.

Заглянуть за предел, что очерчен
наплывающим краем земным,
и понять, чьею силой заверчен
этот мир, несравнимый с иным...
Проникать за пределы способен
лишь стремительный солнечный свет
или разум, что боголодобен,
или – интуитивно – поэт.



Стихает дневное волнение,
звучанью – молчанье в ответ,
стекает теней удлинением
на западе гаснущий свет.
Игра лучезарной беспечности –
померк светотеней дуэт...
Всего за мгновенье до вечности
уходит из жизни поэт.

1998

Суббота в эмиграции

Не зажигали мы свечей к Субботе,
и в синагогу не ходили мы,
и думали в субботу о работе,
а не о Боге.

Но духовной тьмы,
сказать по правде, мы не замечали:
запретом скрыты оставались дали
для нас, привыкших к жизни за стеной,
но годы шли, и стала жизнь иной.

Стараясь непривычною рукою
два огонька зажечь в вечерний час,
надеюсь душу обратить к покою,
которому не обучали нас.

Колблются Субботы огоньки
от дуновений воздуха свободы...
Пытаюсь я в оставшиеся годы
вступить в неиссякающие воды
из Вечности струящейся реки.

2000

Анна Осмоловская

На платформе

Платформа пригородной станции была безлюдна. Дачный сезон в Подмоскowie закончился. Лишь несколько человек в ожидании электрички спрятались под навес от проливного дождя и порывистого осеннего ветра.

Здесь же, под навесом, бегал щенок. Никто не обращал на него внимания. Пожилая дородная дама дремала, сидя на скамейке, крепко прижимая к себе сумку, лежащую у нее коленях. Рядом спортивного склада мужчина, положив ногу на ногу, читал газету. Чуть поодаль молодой человек, наклонившись к хо-рошенькой девушке, о чем-то увлеченно рассказывал ей. Казалось, они ничего вокруг не замечают.

Забавный маленький щенок на неокрепших ещё лапах неуклюже перебегал с места на место, вопросительно поглядывая на людей. Он был беспородным – просто дворняга. Но это ничуть не умаляло его собачьего очарования: блестящая черно-белая шерстка, живые ясные глаза. Сразу было видно, какой он еще несмышленный и доверчивый. Возможно, он потерялся. Но, скорее всего, его оставили дачники, уехавшие по окончанию лета в город. За годы перестройки жизнь стала тяжелой. Животных теперь часто броса-

ли на произвол судьбы, так как кормить их было нечем.

Щенок увязывался за каждым случайным человеком, изредка появлявшимся на платформе, но, не находя понимания, постепенно отставал и возвращался под навес.

Набегавшись, присел он у ног мужчины, читавшего газету. Наверняка голодный, наивный и трогательный, щенок никак не мог найти себе применения. Хотелось и пошалить. Повернувшись к ноге мужчины, он стал хватать зубами и тащить в сторону шнурок его ботинка.

Отгорвавшись на мгновение от чтения, мужчина недовольно пнул щенка ногой. Тот взвизгнул и отлетел в сторону. Обиженный, поплелся он по платформе, но вскоре вернулся. Злопамятности в нем не было, да и опыта маловато. К тому же идти ему было просто некуда.

Никем не замеченный, залез он под скамейку и заскучал. Мужчина тем временем дочитал газету и стал насвистывать популярную мелодию, постукивая в такт носком ботинка.

Наблюдая из-под скамейки за пританцовывающей ногой, щенок повеселел. Он подкрался, напал на ботинок и, обхватив его лапами, стал покусывать со стороны задника. Мужчина взорвался:

– Тварь какая! – крикнул он, вскочив с места и грубо отшвырнул ботинком вынырнувшего из-под скамейки щенка.

Дремавшая дама слегка приоткрыла глаза, желая выяснить причину шума.

– Безобразие. Развели здесь собак. Наверняка бездомная, – недовольно пробурчала она и опять погрузилась в дремоту, ещё крепче вцепившись в сумку.

Молодая парочка не отреагировала на случившееся. Для них окружающий мир с его проблемами не существовал.

Щенок, сильно ударившись о соседнюю скамейку, заскулил от боли и, прихрамывая, заковылял из-под навеса и больше туда не вернулся. Случившееся было его первым суровым жизненным уроком. Отойдя подальше, прилег он на лапы на холодном асфальте под хлесткими струями дождя.

Наконец послышался шум приближающейся электрички. Ожидавшие поспешили войти в полупустые вагоны и уехали.

А из электрички вышла только женщина с двумя детьми. Она шла, согнувшись под тяжестью большого цветастого узла и сумки, связанных старым махровым полотенцем, перекинутым через плечо. Из сумки торчало пестрое тряпье, сбоку вырисовывалось что-то круглое: должно быть, дно сковородки или кастрюли. Съежившись от дождя и встречного ветра, женщина тянула за руку полусонную темноволосую девочку лет трех, не по погоде легко одетую: трикотажная вытянутая кофта с несколькими оторванными пуговицами, спускающаяся почти до голых перепачканных коленок, на ногах – тряпичные туфли. Поотстав от них, плелся смуглый мальчик лет пяти. Это были беженцы, каких много скиталось в эти годы по стране. На их родной земле шла война. Дом, в котором они жили, разрушило бомбой. Спасаясь от пуль, от смерти, оказалась женщина с детьми, как и многие несчастные люди, на чужбине. Но здесь до них не было никому дела. Приходилось ночевать на уличных скамейках, ютиться на вокзалах, где-нибудь на полу у стенки, на подстеленном тряпье. Чтобы кушать еду, просили милостыню в электричках, поездах метро.

Каким ветром занесло женщину с детьми на подмосковную платформу, одному Богу известно.

– Мам, посмотри, какая собачка! – крикнул мальчуган и остановился.

– Идем, идем, не отставай! – отозвалась мать, не оборачиваясь.

Щенок, почувствовав участие, вскочил, завилял хвостом и побежал к мальчику. Тот взял его на руки, словно ребенка, животиком кверху. Мокрые лапы с розовыми подушечками смешно торчали в разные стороны.

Женщина оглянулась. Остановилась, поставила на изгородь, не снимая с плеча, свою поклажу. Тяжело вздохнула. Сегодня был трудный день. Теперь дело шло к вечеру. И она, и дети устали, проголодались, промокли. С раннего утра втроём ходили по вагонам электричек, пересаживались из одной в другую, просили милостыню, искали сострадания. Но редко когда протягивалась рука с шуршащей денежной бумажкой. Местным людям самим жилось тяжело, считали каждую копейку.

Да, сочувствовали немногие. Но еще горше было слышать:

– Вот шарлатаны, ишь, как прикидываются нищими! Я слышал, они детей напрокат берут....

– Не подавайте им! У них денег больше, чем у нас с вами!

Какая-то раздраженная старуха принялась сегодня стыдить:

– Да на тебе пахать можно! Сразу видно, ты работать не хочешь, детьми прикрываешься! Ну и что – дети? У всех дети!

В одном из вагонов проход был перегороден рюкзаком. Женщина стала помогать девочке перебраться, споткнулась и чуть не упала.

– Девка-то, кажись, пьяная, – сказал кто-то сзади.

– Похоже. Небось, еще на одну бутылку собирает, – отозвался другой. Женщина сносила эти болезненные уколы молча, опустив глаза.

...Девочка, увидев щенка на руках у брата, побежала к нему.

– Какой хороший, – гладила она щенка по мор-

дочке. – Ой, а лапки какие кривоногие!..

Достав из кармана кусок недоеденной булки и отломив кусочек, поднесла к носу щенка. Тот проглотил угощение и, облизываясь, умильно смотрел на девочку, как бы выпрашивая добавку.

– Ну что вы там встали?! Идите скорее! – раздраженно закричала мать.

– Мам, давай собачку возьмем, – попросил мальчик. – Она ведь ничья, голодная, вся дрожит. Мы уйдем, а она останется совсем одна и замерзнет.

– Нет, нет, не можем мы, – махнула рукой женщина и приподняла сумку, чтобы идти дальше.

– Мам, – просительно сказал мальчик, – я буду всегда тебя слушаться! И ее, – показал на сестру, – больше никогда стукать не буду, честное слово! Ну, пожалуйста!..

– Мамочка, я тоже хочу собачку! – прижалась девочка к материнской руке.

Женщина замерла и безнадежно, отрешенно стала смотреть куда-то вдаль: на бесконечное низкое небо, пустынную серую платформу. Спускались сумерки. Она очнулась и перевела глаза на детей. Два сосредоточенных детских личика замерли с надеждой в глазах. Щенок, приподняв ухо, тоже уставился на нее, ожидая приговора.

– Да что вы, милые мои, куда нам еще собаку? Самим ведь на еду не хватает! Да где ее держать-то?

Она машинально погладила голое брюшко щенка:

– Эх, маленький...

Рука почувствовала живое тепло, и лицо женщины смягчилось и просветлело:

– Кобелёк...

Помолчав, она тихо, устало проговорила:

– Что ж, если хотите, берём...

– Берём, берём! – закричали звонко дети.

Через минуту все трое двинулись дальше.

Мальчик крепко прижимал к себе щенка. Смеющаяся девочка изо всех сил пыталась дотянуться и погладить его, едва поспевая за широким шагом брата, подпрыгивала, не замечая луж, и набирала все больше воды в свои разбитые хлюпающие туфли.

Плевок судьбы

Настороение было тягостным. Мне ни в чем не везло. Согласно общественному мнению того времени двадцатипятилетний возраст был для девушки рубежом, после которого ей грозила участь старой девы. Вот одна из народных попевок тех времен:

*На столе стоят цветочки,
Мои кудри вьются.
Мне не двадцать пять годов,
Женихи найдутся.*

Я приближалась к роковому рубежу, но ни мужа, ни жениха у меня не было.

Все мои сверстницы нашли себе мужей и гордились этим. Расцвела моя пятнадцатилетняя красавица-сестра. Глядя на ее многочисленных поклонников и юных подружек, считавших меня уже почти старушкой, я с сожалением думала о том, что годы, отпущенные жизнью для счастья и любви, безвозвратно потеряны. И все потому, что мне приходилось до иступления заниматься музыкой.

Страдала я и оттого, что разуверилась в искренности близкой подруги Галины, которой раньше доверяла безгранично. Она посоветовала мне сделать короткую мальчишескую стрижку.

В парикмахерской мои роскошные волнистые волосы упали на пол, а мастер моментально подхватил

их и спрятал.

Мама, взглянув на меня, остолбенела, потом заплакала и сказала:

– Дура! На кого ты похожа?! Волосы – лучшее украшение, которая дала тебе природа.

Я вдруг поняла, что мама права, и рассердилась на Галину, заподозрив подругу в злом умысле. А на маму – очень обиделась. За всю жизнь я не слышала от нее ни одного оскорбительного слова. Я перестала с мамой разговаривать. А потом испортила отношения и с бабушкой, нагрубив ей.

Мне казалось, что я уродина, толстая, как корова, и грудь у меня слишком большая. Судя по фотографиям тех лет, это не соответствовало действительности. Я была хорошенькой, вовсе не толстой. Мне многие говорили об этом. Но у меня была своя точка зрения. И я устраивала голодовки.

Бабушка, в прошлом врач, старалась убедить меня, что голодовками можно нажить гастрит, язву, туберкулез, фурункулез и кучу еще каких-то болезней.

– Отстань! – закричала я, сорвавшись. – Что ты ко мне лезешь? Без тебя знаю, не маленькая!

Незаслуженно обидев бабушку, я мучалась от угрызений совести.

Возникли неприятности и в учебе. В том году заканчивала я музыкально-педагогический институт. Меня вызвали в деканат и объявили, что не допустят к выпускным экзаменам, если я не сдам зачетную работу по полифонии. А я не ходила на занятия, потому что сочинить эту четырехголосную фугу на заданную музыкальную тему никак не могла. Как ни билась, выходила такая какофония, что мои домашние разбегались, а соседи снизу стучали в потолок палкой.

Единственно, чего не коснулась безжалостная рука судьбы, это моей тайной романтической любви к Фридриху Шопену. Его портрет висел в комнате

над пианино. Я всматривалась в прекрасное одухотворенное лицо, в затуманенные меланхолическим взглядом глаза, потом садилась за инструмент, раскрывала ноты и погружалась в мир тончайших движений души гения, в мир грандиозного космического духа. Моя любовь к «поэту фортепьяно» была светла, но полна печали. Иллюзия не могла восполнить то, чего я была лишена в реальности.

В тот памятный вечер я одиноко брела куда глаза глядят по захолустным улочкам московской окраины. Мимо черных контейнеров с мусором, мимо детских песочниц. И думала о своей нескладывающейся судьбе. Жизнь казалась конченной. Впереди – одна пустота.

Уже темнело, но домой возвращаться не хотелось. Я считала, что мама и бабушка не любят меня, что я им надоела, так как засиделась в девках.

А жили мы вчетвером в одной комнате. В нашей коммунальной квартире ютились еще две семьи. И ни одного уголка, где можно было бы спрятаться, никого не видеть, никого не слышать и никому не мешать.

Вдруг почувствовала: мне на голову что-то упало. Посмотрела вверх, думая увидеть в вечернем небе птицу, справившую на лету свою нужду. Но вместо птицы уловила взглядом на одном из балконов дома метнувшуюся и моментально скрывшуюся тень человека. Провела рукой по голове и ощутила... Словом, в меня сверху плюнули!

Я попала в положение героя анекдота о шнурке. Там человека преследовали всяческие неприятности, он наступил на развязавшийся шнурок своего ботинка, чуть не упал, и завопил: «И ты против меня?!» Пошел и повесился.

Моим “шнурком” оказался плевок. Повеситься из-за него я не собиралась, но была полна решимости немедленно сделать что-то ужасное. Что именно, не ясно, но плевок, как говорится, разбудил во мне зве-

ря. Я чувствовала себя униженной и оплётанной буквально всем миром!

Быстро вычислив местонахождение квартиры, под балконом которой стояла, я задыхаясь, со сжатыми кулаками взлетела на третий этаж, гневно надавила на кнопку звонка.

Дверь открылась. Я увидела расплывчатое зеленое пятно, за ним просматривалась комната, там за столом сидели люди – как мне показалось, целая банда. Все члены банды, повернув головы, молча и сосредоточенно смотрели на меня. Кто из них мой обидчик? Я крикнула, обращаясь ко всем сразу:

– Хамы! Чем занимаетесь! Да я вас всех в милицию сдам!

Голос мой дрожал. Меня трясло. Я зарыдала. Дальше не помню, что было. Провал в памяти. Кажется, меня куда-то волокли, а я упиралась и на ходу что выкрикивала. Когда пришла в себя, увидела, что сижу за одним столом с компанией бандитов. На столе стояла еда и бутылки.

– Голубушка, да кто же вас так обидел? – твердила пожилая дама в зеленом платье, ласково касаясь моего плеча. – Успокойтесь, голубушка!..

Мне было стыдно, я хотела встать и уйти, но она удержала меня, пододвинула тарелку и бокал, положила, помнится, салату, а какой-то из бандитов налил вина. Я отказывалась и всхлипывала.

Постепенно успокоившись, стала приглядываться. Людей за столом было всего лишь четверо, и никакие не бандиты. Дама в зеленом – хозяйка дома, седовласый мужчина – ее супруг, симпатичная девушка – дочь, а молодой человек, на вид чуть старше меня, – гость, племянник по имени Виталий. Как мне объяснили, он заехал повидаться, и застолье организовано в его честь.

Все выглядели очень интеллигентно и обращались ко мне, несмотря на мое поистине хамское вторжение,

крайне доброжелательно. А приглядевшись к Виталию, была просто поражена: передо мной сидел Фридерик Шопен в форме морского офицера! Потом увидела, что это не совсем Шопен, а, скорее, пародия на него. Смешным и неказистым делали его чересчур длинный нос и худоба. Морская форма как бы висела на нем...

Я засомневалась, в ту ли квартиру попала, правильно ли ее вычислила. Было похоже, что ошиблась. Окончательно освоившись, выпила чашку чая с кусочком торга.

Надо было уходить, и чтобы сделать хозяевам приятное, я на их старом расстроенном фортепьяно сыграла вальс Шопена. Некоторые струны были оборваны, иные клавиши западали. Опять получился не Шопен, а пародия. Но все были в восторге и просили сыграть что-нибудь еще. Я сыграла еще и стала прощаться.

Виталий вышел со мной. Ему предстояло добратся на электричке до небольшого подмосковного городка Солнечногорска. Там жила его мать, к которой он приехал на две недели в отпуск. Виталий сказал, что закончил Ленинградское высшее морское училище и направлен служить в город Балтийск Калининградской области.

– Почему вы так плакали, почему отказались рассказать о том, что с вами произошло? – спросил Виталий.

– В меня плюнули. С балкона, – объяснила я.

Виталий оторопел, остановился и пробормотал сконфуженно:

– Но я вас не видел, честное слово! Выпили мы с дядей, вдруг стало мне как-то дурно, вышел на бакон подышать и... Простите, Бога ради, простите!

Сердиться было поздно. Да и зверь во мне уже успокоился.

Всю неделю мы с Виталием встречались каждый

день. Побывали в Большом театре, в Кремле, в Третьяковской галерее. С ним было легко, казалось, что знаю его всю жизнь. Он должен был уезжать в субботу. И в четверг вдруг сказал:

– Приезжай в Балтийск?

– А что! Вот и приеду... Как-нибудь... – сказала я из вежливости, понимая, что эти планы нереальны. А он буквально загорелся:

– Вот и хорошо! Но Балтийск – закрытый город. Ты будешь должна оформить соответствующие документы, иначе тебя туда не пустят. У тебя есть ручка? –

– Зачем?

– Чтобы расписаться... – сказал он смущенно.

В народе часто говорят не «пожениться», а «расписаться». И все понимают. Поняла и я. Обрадовалась, удивилась и согласилась.

До отъезда Виталия оставалось два дня. А ждать регистрации брака после подачи документов, мы это знали, нужно больше месяца. Мы вооружились большой красивой коробкой шоколадных конфет, Виталий объяснил причину срочности, – и из ЗАГСа мы вышли мужем и женой.

Через несколько месяцев, успешно закончив институт, поехала я к мужу в город Балтийск. Меня провожали мама, бабушка, сестренка и моя верная подруга Галина. Мне совестно, что в те далекие времена я заподозрила ее в недобром. До сих пор не призналась ей в этом.

Вот такая история. Не окажись я в то самое мгновение в той точке земного шара, где суженый плюнул мне на голову, жизнь сложилась бы совсем по-другому.

С Виталием мы прожили двадцать лет. Было много прекрасного, о чем я вспоминаю и с радостью, и с грустью. С грустью оттого, что все прошло и больше уже никогда не повторится. Теперь я окружена детьми и кучей любимых внуков. Я счастлива.

АНАТОЛИЙ ПАКУЛОВ

Стена Плача

Все бьют поклоны предо мной,
желая мир переиначить.
Я тыщи лет стою стеной,
зовут меня «Стеною Плача».

Проходят вечно предо мной
людские беды и обиды.
Готова я стоять стеной
за справедливый суд Фемиды.

Стою – не плачу, я – Стена,
хотя порой мой камень стонет.
Судьба людей здесь вкраплена –
пусть их молитва Бога тронет.

Я влюбиться сейчас хочу
в то, что будет после меня.
Пусть мне внуки поставят свечу
и пусть песни мои звенят.

АНЖЕЛЛА ПОДОЛЬСКАЯ

Возвращение

После девятнадцатилетнего перерыва Тамара ехала домой. С волнением и даже страхом ожидала она встречи с матерью, с которой не виделась все эти годы. Какая она теперь? Наверное, старенькая совсем. Только четыре года назад, после многочисленных писем к матери, получила она от неё ответ. Письма Тамара писала, денежные переводы посылала. Но не приезжала. Что-то, сидящее глубоко внутри, не пускало. И, возможно, не скоро собралась бы она в дорогу. Только стала она суеверней в последнее время. В голову лезли разные мысли. О том, что неправильно жила, что мать была права, не желая её знать. И ещё сны. Частые сны, что мать умерла, а она и не знала. И до того они стали доносить её, что решила ехать.

Сердце сразу защемило, когда подумала о том, что выйдет в родных Ежах, где поезд всего полминуты стоит. Пройдёт по своей улице, щеколду на калитке отбросит и войдёт во двор. Вот он, двор её. Слева дом, ничем не примечательный, мало отличающийся от соседских. Пристройка с летней кухней. За ней курятник, хлев – всё вместе, с присущими им запахами, от которых у неё всегда сводило в горле, и в куда она

заходила, зажав нос рукой, когда мать заставляла. А справа – маленький сарайчик. И чего там только не было. Вёдра старые да дырявые, лопаты да вилы, тряпье всякое, которое мать каждый год перебирала, чтоб выбросить, но оставляла. Словом, хозяйство, как в селе, хотя их станция и именовалась посёлком городского типа. Но как она-то сама любила запереться в том сарайчике и играть... То в «школу», то в «больницу» или в «принцессу», представляя при этом, что и не сарай это вовсе, а дворец, а она -его хозяйка, царица. Так и прозвали её в посёлке: «царица Тамара». Нет, не станет она в сарай заглядывать. Пусть останется он в памяти таким, как в тот вечер, когда они с Генкой там обнимались и целовались. Как она любила его тогда... И зачем только уехала? Чего хотела? Оторваться от курятника?.. В столице жить?.. Мать и слышать не хотела об этом. «На кого, – спрашивала она, – хозяйство оставлю? Уедешь? В подоле принесёшь? Не возвращайся. Так и знай!» И всё-таки она уехала. И в подоле не принесла. А мать тогда из дома ушла, чтоб с ней не проститься. Денег у неё в обрез было, только те, что сама заработала. И ехала она в никуда. В институт не поступила, но и домой не вернулась. Кем только ни работала, с кем ни жила. Только она знает, чего стоили эти годы. Сколько раз, проплакав ночь, хотела бросить всё, вернуться. Гордость не пускала, когда представляла насмешливые и сочувствующие взгляды, которые встретят её. Только она знала, как из смазливой «царицы Тамары» превратилась в красивую и благополучную Тамару Петровну. Вот только Бог детей не дал. Наказал её, что ли? А за что? И не бесплодная. У врачей сто раз была. И мужей проверяла, законных. Но... не родила. А у Генки, мать написала, близнецы. Геночка, любовь ты моя, первая, чистая. Как они целовались... Как ей хотелось чего-то большего... Да только он не позволил, говорил: «Вот поженимся, тогда...» И как она была ему

благодарна, дура. А, может, это был тот единственный случай, когда любовь проросла бы в ней, закрепились намертво и вылилась в её и его, Генкином, ребёночке. Но она и думать не хотела, что останется там навсегда, где единственным развлечением были танцы раз в неделю да кинофильм пятилетней давности, и то, если передвижка не сломается. Уехала... А институт - только недавно закончила. Заочный. И как греда её эта бумажка. А чего, спрашивается? Как работала последние годы бухгалтером, так и работает. Зато сама она и красивая, и нарядная всегда. И мужчины, как прежде, подолгу задерживают на ней взгляд. Но выйдя очередной раз замуж, решила: в последний. Муж хороший, домовитый, её любит. За то, что детей нет, не корит. Жизнь стала спокойной, размеренной. Живут «для себя». И не верилось, что за плечами бурные годы, которые она вспоминала иногда с улыбкой, иногда с сожалением, что молодость прошла, не принеся того, о чём мечтала, и приближается сорокалетие – рубеж, о котором и думать не хочется. В эти нередкие мгновения, ощущая привкус горечи, успокаивала себя: «сорок пять- баба ягодка опять». Так у неё ещё восемь годочков впереди.

Проводница разбудила в полпятого. «Стоим две минуты», – предупредила она. «Смотри!... Полторы минуты добавили...» – отметила про себя Тамара. Когда к Ежам подъехали, над посёлком занимался рассвет, высветивший новое здание вокзала. Пройдя сквозь него, она остановилась на привокзальной площади и не узнала её. Всё было новым: постройки, автобусная остановка, кафе. Тамара пожалела, что не предупредила мать о приезде. Сумки с подарками для тех, кого она помнила и когда-то любила, были очень тяжёлыми. Дорогу нашла безошибочно. Ноги сами несли её, как будто все эти годы ходили здесь. Подойдя к дому, остановилась. Ноги стали ватными, а сама

она вся взмокла от волнения. Переведя дух и поглубже вздохнув перед встречей с матерью, шагнула вовнутрь. Двор был пуст. «Наверное, спит ещё», - подумала она. Но мать не спала – возилась в летней кухне.

– Вам кого? – спросила мать. И сразу же:

– Томка? Ты, что ли? Приехала всё ж?

Буднично как-то спросила, вроде её неделю всего-то и не было. И Тамара сразу почувствовала себя Томкой, уехавшей против воли матери девятнадцать лет назад. Мать почти не изменилась, только суше стала и ростом пониже. Так и стояла Тамара на пороге летней кухни с сумками в руках, пока мать не позвала в дом:

– Входи. Чего ж? Иль забыла уже? Туфли на крыльце скинь. Полы уж вымыла.

Войдя в дом, мать подвела Тамару к шкафу.

– Гляди! Деньги твои не тратила, забери. Мне моих хватает. А что присылала, так за то – спасибо, – протянула она Тамаре аккуратную пачку, перевязанную тесёмкой, под которой белела бумажка с проставленной суммой. – Забери, забери. А мужа-то чего ж не привезла? Мне от соседей стыдно... Ладно уж, проголодалась с дороги небось? – потеплел её голос. – Поешь-ка молока с хлебом, а я картошки наварю, в погреб слажу: огурчики у меня там, сало. Ну, а к вечеру наготовлю: котлеты наверху, вареники. Да соседей позову – пусть посмотрят: «царица Тамара» пожаловала.

– Мама! А я вам гостинцы привезла, – робко сказала Тамара и развернула перед матерью длинную тёмно-синюю кофту, большой серый пуховый платок, вытащила из сумки набор кастрюль с мисками.

– Подарки? Зачем подарки? Ты вот приехала, – ответила мать, но руки её помимо воли поглаживали югославскую шерсть добротной кофты, перебирали посуду с белыми ромашками.

«А ведь мы не поцеловались», – подумала Тама-

ра. Она наклонилась и обняла сзади мать. Та съежилась и отвернулась, и Тамара поняла, что мать стыдится своих слёз.

Вечером, когда разнеслась весть о приезде Тамары, сошлось полпосёлка. В большой комнате стоял гул, словно в пчелином улье. Все обнимали, разглядывали, трогали её, как бы проверяя, настоящая ли она. А Тамара одаривала всех, возбуждённая от счастья. И горько ей было, что так долго лишала она себя этой радости. Вскоре и Гена появился, да не один, а с семейством. Хотя и ожидала она его прихода, но в первый момент воздуха ей не хватило, задохнулась. Генамладший был точной копией отца девятнадцатилетней давности. Рядом с ним стояла его сестра-близнец. За ними – сам Гена с женой.

– Какая вы стали, Тамара Петровна!? – то ли с одобрением, то ли с осуждением сказал он. – Эх, к-ха, жизнь... А я вот, значит... Да, вот – супружница моя... и детки, значит... А вы, Тамара Петровна, одна или с мужем приехали?

– Одна. Одна, я приехала, Гена.

Гена, её Гена, был седой, сильно располневший мужчина, с которым нужно было знакомиться заново. Никогда не узнала бы она в нём того, прежнего. Жена его, не местная, у неё никакого интереса не вызвала. «Никакая. Пирожок без ничего», – подумала про себя. А близнецы были красивые. Сама Юность стояла перед ней. Девочка разглядывала её с восхищением. Слух о том, что она была когда-то невестой отца, лишь обострял её любопытство. В глазах парня Тамара прочла совсем не детский интерес, скорее мужской. Его взгляд обжёг её, и она почему-то смутилась и отвела взор.

Отвечая на бесконечные вопросы, Тамара рассказывала о своей жизни, не уставая повторять одно и то же и опуская ненужные подробности.

– Томка! Ты диплом-то покажи, – просила мать.

– Сами покажите, мама, – отмахивалась Тамара, и видела, как мать «демонстрирует» её диплом соседям. До неё долетали слова матери, в которых звучала гордость за неё, Тамару, хоть и запоздалая:

– Смотри-ка, выучилась всё ж... Зовут дочка с зятем к ним жить. Может, и поеду поглядеть. Ну, не навсегда – хозяйство не брошу... А то, поглядим... Как Бог даст.

«Господи! – подумала Тамара, – какое счастье, что у меня есть мать». Её вдруг наполнило чувство защищённости, покоя, оттого, что у неё есть мать.

На следующий день, наводя порядок после вчерашних гостей, они всё говорили и говорили. Мать, когда-то немногословная, не умолкала. «Стареет», – подумала Тамара. Вдруг мать сказала:

– А, поди, ты и права была, когда уехала-то. А то была б, как я или Мария. А так в люди вышла. А Генка-то пьёт. Но не буйный, нет. А так: как напьётся – спать завалится, дня на два. Потом – день тверёзый, и сызнова. А твой пьёт? Нет? И то хорошо. А деток чего ж не завели? Ну, молчу, молчу, – проговорила она, увидев наполнившиеся слезами глаза дочери.

Вечером Тамара пошла к Марии, двоюродной сестре, сговорившись с ней накануне. Хотелось побыть вдвоём, без вчерашнего шума. Им было о чём вспомнить и рассказать друг другу. Засиделись допоздна, всё чай гоняли. Наплакались вдоволь и насмеялись до слёз.

– Мне и первого «замужа» хватило, – говорила Мария. – Так вот и живу. Писем от Митеньки из армии жду, то работа, то по дому, по хозяйству, ты ж знаешь, как оно в селе. С матерью твоей совсем сроднилась. А знаешь, Том, она ведь твои письма мне по сто раз перечитывала. Я их все наизусть помню. Любит она тебя. Как приду к ней, так только о тебе и

разговор. А что не писала столько, так то ж характер... Оставайся ночевать, - попросила она, когда Тамара собралась уходить.

– Так мать же не предупредила. Ну, я побежала. До завтра.

Она шла домой, лёгкая от сознания вновь обретенного дома, родичей. На улицах посёлка было безлюдно. Когда до дома оставалось шагов сто, перед ней неожиданно оказался Гена-младший. Без слов схватив и облапив, впился губами в её рот. Руки его шарили по её телу, и от него исходил какой-то звериный запах, запах молодого жеребца. Она ослабела под его поцелуями, и не было у неё сил оттолкнуть его, освободиться. И когда до последнего, самого последнего и сокровенного мгновения оставался лишь миг, в самый этот миг, отпихнув его, побежала.

– Стой! – неслось ей вслед. – Всё равно тебя не отпущу. Достану, так и знай.

Вбежав в дом, спрятав лицо и глаза от матери, проскользнула в свою комнату. Дрожащими руками сняла с себя уже почти сорванную одежду. Её била дрожь. Лёжа в темноте, чувствовала на губах его солоноватое дыхание, и делалось ей жарко. В беспмятстве своём продолжала она то, что в действительности не произошло. Его руки по-прежнему шарили по ней, проникая в самые укромные места. И в мыслях своих она отдавалась ещё и ещё и не сознавала, было то наяву или только в её воображении. Она села в постели вспотевшая, размякшая. Вот ведь и не думала... Нет, думала... Где-то её это зацепило. Как глазами с ним в тот вечер встретилась, всё промеж них ясно стало. Сам взгляд выткал нить, соединившую их. Бежать!.. Бежать от этого жгучего, жуткого и потому ещё более желанного. Утром, после бессонной ночи, решила: ехать и сейчас. Выйдя к матери, которая уже давно встала, глядя в сторону, сказала:

– Мама! Мне домой надо.

– Как так? Или стряслось чего?

– Да так. Ехать мне надо. Сегодня. Сейчас. А то и стрястись может. Генка этот, меньшей, подстерёг вчера...

– Ой, Господи! Ты чего ж, чума, удумала? Мальца совращать? Господи! – запричитала мать.

– Мама, не кричите. Не я это... Он... У меня и в мыслях не было...

– Да, да. Поезжай. Только как же ты поедешь? Поезд-то вечером. Ладно, электричкой до узловой, а там уж доберёшься. А то как бы тебе мальчонку с собой не увезти. Господи, горе-то какое.

Собрав наскоро вещи, они побежали на станцию.

– Ну и чего ж я людям-то скажу? – изводила её мать. – Стыдно-то как. Скажут: «Опять сбежала».

– Придумайте что-нибудь. Скажите – заболела.

– Господь с тобой! Скажешь тоже, заболела.

– Мама, адрес мой никому не давайте. И Марии скажите. Он – чумной, не отступится.

Обняв мать и разрыдавшись, Тамара вошла в подошедшую электричку.

– Что же это? Он же мне в сыновья... – всхлипывала она.

– С Богом! – перекрестила её мать.

Потом, когда ехала в электричке, а затем и в поезде, снова и снова прокручивала она в памяти вчерашнюю сцену, и каждый раз с другим концом. «Забуду», – лгала она себе. И тут же накатывала волна: «Было... Было ощущение предвкушения счастья и стыда одновременно. Если бы... если бы...» Её охватывало спокойное отчаяние и в голове рождалась какая-то новая формула, что люди, пробывшие вместе лишь мгновение, в которое стирается багаж накопленного, как и перспектива будущего – одного возраста. Потому что возраст – не количество прожитых лет, а количество оставшихся мгновений.

Откровение

За стеной всё плакал и плакал ребёнок, но она не могла заставить себя подойти к нему. Она ненавидела этот маленький живой комочек, появление которого в её доме вскрыло, как созревший нарыв, её внешне благополучную жизнь. Ненавидела его потому, что сейчас в нём сосредоточилась вся её ненависть к мужу, шаги которого всё время раздавались за стеной в унисон детскому плачу.

Она набросила подушку на голову, свернувшись калачиком под одеялом. «Донгрался, – сверлила мысль. – Наконец-то хоть одна баба оказалась умнее. Вот так припечатала... Оставила ему ребёнка, а самой и след простыл». Она расхохоталась. В эти минуты у неё не было даже злости. «Над чем она смеётся? Впору уж посмеяться над собой... Много лет вела она счёт обидам: когда-нибудь настанет время их предъявить. Она отомстит – потом». Создавала видимость семьи, которой уже давно не было. Так. Только крыша общая и некое единое экономическое пространство. Из кожи лезла, сохраняя это. Для окружающих. Для общественного мнения. Более всего её страшило общественное мнение. Казалось, пусть плохой, но брак. Появление младенца у пары, когда обоим за пятьдесят, имеющих двоих взрослых детей и внука, сводило на нет её многолетние усилия.

Впервые она была на грани отчаяния. Впервые не знала, что предпринять. И весьма слабым утешением её самолюбию служила мысль, что муж наказан. Она услышала, как приоткрылась дверь и он остановился на пороге. Он стоял тихо, прислушиваясь к её дыханию. Ей даже показалось, что он тоже плачет. Она пошевелилась, и тогда он заговорил. Он рассказывал больше, чем она хотела услышать, больше, чем она могла вынести.

– Сделай что-нибудь, пожалуйста, – наконец попросил он. – Я не могу. Я ничего не могу. Ребёнок же не виноват.

Она села и сунула так и не согрешшиеся ноги в шлёпанцы. В комнате было холодно. На улице шёл снег. Она сидела и молча смотрела на него. «Когда? Когда же она забыла, что такое радость?» - в тысячный раз спрашивала она себя. А он так и стоял в дверях, не решаясь что-либо добавить к сказанному. Набросив халат, она прошла в соседнюю комнату. На кушетке, перевернувшись лицом вниз, лежал ребёнок. Он устал от непрерывного плача и только тихонько всхлипывал и сучил ножками. По её лицу пробежала волна удивления и отвращения, как будто увиденное притягивало и отталкивало одновременно. Наклонившись, она перевернула его на спину.

– Кто ты, маленький? – тихо спросила.

Развернув одеяло, провела рукой по детскому тельцу. Какие бархатные ножки. Этот давно забытый, кислотовато-парной запах. Она почувствовала, как острая боль жалости к этому комочку переполнила её. Это был момент истины. Прижав к себе ребёнка, она подошла к окну. Снег всё падал и падал, на глазах исчезая, едва коснувшись асфальта. Как и её растаявшая жизнь, ставшая уже почти историей.

Романс дождя

Моё кресло стоит у окна. Я сажусь в него обычно, когда на улице идёт дождь. Я люблю дождь. Он созвучен моему настроению, тому, что я чувствую. Не тот, который обрушивается с силой ветра. И не тот, лёгкий, летний, сквозь лучи солнца, слепой. Люблю дождь монотонный, затяжной, когда он тонкими струйками стекает по стеклу, орошая сердце. Закрывая глаза, вслушиваюсь в его мелодию. Как радио

«Ретро». Старая музыка, из «вчера», обретающая иной смысл. В кадре, выхваченном из Вселенной, – двое. Шёпот, переходящий в стон, стон узнавания. Праздник любви, лишь только он, и ничего более.

Любовь – главный смысл жизни, вещество, дарящее счастье или трагедию. Чего больше? Стоит ли первое второго? И как ты себе это представлял? Сколько же это могло длиться: год, два... десять? Можно обмануть молодость, но обмануть Природу не удавалось никому. Разве что Фаусту, продавшему душу. Душа... Туда нельзя входить, неизвестно, что за ней. Но как хочется иногда к ней прикоснуться...

Слушаю дождь, всякий раз силясь понять, пытаюсь опомниться, продираясь сквозь дебри к прошлому, открывая внутренние двери, одну за другой, к себе самой, и отыскивая в глубине, там, в подсознании, «да» и «нет». Зачем это было? Что привнесло оно в мою жизнь? Возможно, жажда неизведанного? Нет. Просто это была болезнь. «Не вычёркивай меня из своей жизни», - слова из «вчера», но я отчётливо слышу, как будто снова здесь, рядом, кто-то произносит их. И невозможный, несуществующий в этом абсолютном настоящем взгляд. Я не гоню наваждение, а вновь и вновь погружаюсь в него, в мир, существующий лишь в моём сознании. Дождь, этот дождь обволакивает меня. Завернуться в плед. Вспоминая, заново пережить абсолютное прошлое. Воспоминаниями питать память. А память... Она самодостаточна, и вычеркнуть из неё ничего не удастся... Забыть? Простить? Себе самой? Господи! Сколько же это будет болеть? Я – часть абсурда, созданного мной. Где-то бьёт о стену щеколда, возвращая меня в «сегодня». И дождь прошёл. Сквозь тучи проглядывает солнце, не вызывающее ассоциаций.

Некоторое время я всё ещё сижу в кресле. Нечто, ещё неосознанное, поднимается изнутри. Причуда? Я хочу сделать назло себе? Но почему-то мне хочется

передвинуть кресло в другой конец комнаты. Не пытаюсь разобраться с этим новым чувством, отодвигаю его от окна.

В следующий дождь - пройтись босиком по лужам, разглядывая в них своё дрожащее отражение. Какие мысли навеет тот дождь? Или слова, которые так и останутся словами, не перейдя в жизнь, неспособными что-либо изменить и измениться. Каким будет этот новый виток, некий новый потенциал, приходящий из ниоткуда?

Дней осталось так много... Так мало.
Их по памяти не сосчитать.
И безудержным время вдруг стало –
Инокатилось вперёд или вспять.

И теперь мне одна лишь отрада –
Позабыть о сомненьях своих.
Я не лгу. Мне лукавить не надо.
Пей душа недописанный стих.

Плач и пой. Возвратится сторицей.
Растворится, как шорох в ночи.
И страницу листай за страницей.
Безутешная память – молчи.

Бесцельные опять часы... Шаги...
Туда - сюда...
И вторники мои... И четверги...
Кап - кап, вода...

До донышка испить... До капельки...
Смахнуть слезу...
Вот снова дождик стал накрапывать,
Неся грозу.

Я снова буду мучаться во сне –
Искать, любя.
И подсознание не поможет мне –
Изжить тебя.

И в тупике мне заново кружить –
А выход где?
Неистовую эту ночь прожить –
Опять в стыде.

И вновь с тревогой стану ожидать –
Прихода дня.
В безумстве этом от всего бежать –
Себя кляня.

Устала. Ни любви. Ни сожаленья.
И чувствам места нет. Пойми.
Но всё же гложет червь сомненья:
К чему такая «жизнь взаимы»?

Ужели никогда не захочу я
Испить вновь из ручья глоток?
И ощутить всю горечь поцелуя
Любви, пронзающей, как ток?

Прощай, любовь моя. Я уйду.
Но ты найди меня. Не отпускай.
Хоть рук твоих тепла я не ищу,
Душа моя с тобой. Ты это знай.

Что нам теперь делить? – Лишь небо.
Разведены мосты. Меж них вода.
А крыльев Бог, увы, нам не дал.
Пусть будет так. Отныне – навсегда.

Душа – пустыня. Выжжена до гла,
Щемящей горечью от дыма.
Мир опустел – сереющая мгла.
И память столь невыносима.

Хотела б заглянуть я в «Книгу судеб».
Очиститься от всякой лжи.
Пусть вера вечная во мне пребудет, –
Спасением бессмертия души.

Хотела бы пройти по бездорожью.
С собою все оттенки унести.
Провидеть в этом только волю Божью, –
В судьбой начертанном, моём пути.

Хотела бы я так. Но хватит ли упорства, –
Внутри себя всё низменное подавить?
Души и тела разрешить единоборство,
Вопросом Гамлетовским:
«Быть или не быть?»

АЛЬФРЕД ХОДОРКОВСКИЙ

Подарите мне

Вместо славы и громких почестей,
что даруют нам небеса,
подарите мне одиночество
на обычные полчаса.

Подарите мне одиночество,
чтоб за будничной чехардой,
каждодневностью озабоченный,
я остался самим собой.

Подарите мне одиночество
на каких-нибудь полчаса:
в тишине мне услышать хочется
позабытые голоса.

Чтобы сбылись благие пророчества
и свершились бы чудеса,
подарите мне одиночество
на заветные полчаса.

Подарите мне одиночество,
чтоб предательская хандра

мои строки не обесточила,
не сломала бы мне пера.

Пусть придёт ко мне вдохновение
и простятся мои грехи,
когда терпкое нетерпение
переплавит рука в стихи.

Капризы памяти

Я не хозяин памяти – слуга,
и память надо мной господствует всевластно.
Она порой бывает дорога,
хоть и преследует едва ль не ежечасно.

Она бредёт за мною по пятам,
лишает полуночного покоя.
Когда я предаюсь несбыточным мечтам,
смеётся над капризною судьбою.

Вдруг уведёт из нынешнего дня
в прошедшее... А там не всё так гладко.
Кошмарами замучили меня
злой памяти несносные повадки.

Наскучила причудами она:
то вдруг угаснет, то уйдёт в провалы,
то освежится среди ночного сна
и проблесками вспыхнет запоздало.

Но без неё – тщета и суета.
Как с ней, несносной памятью, расстаться?
Забывать о том, что было, навсегда?
Не дай господь беспмятным остаться!

Со скрипкою в минувшее давно,
в волшебный мир – и близкий, и далёкий –
плыву. Куда? Признаться, всё равно.
То знают нот пульсирующих строки.

Они дерзят и спорят сгоряча,
то брызжут радостью, то делятся печалью.
От страсти неуёмной трепеща,
зовут они в заманчивые дали.

Капризных нот изменчивый поток
то вниз падёт, то вознесётся гордо.
...Не упустить бы только мне смычок
до самого последнего аккорда.

Порой бессонными ночами
является виденье мне:
неспешно между берегами
река змеится в тишине.

А на опушке солнца блики,
ласкаясь, трогают листву,
кусты созревшей ежевики
роняют ягоды в траву.

Поодаль – заросли осоки,
а у излучины реки
полощет ива одиноко
в потоке гибкие прутки.

И в час ночной являясь снова,
будь это сон иль просто блажь,

картины времени бывшего
родной напомнили пейзаж.

...Как часто вдалеке от дома
находим утешенье в том,
что наяву иль в полудрёме
листаем памяти альбом.

Что видят звёзды, глядя с высоты
на лик Земли, покрытый мглой ночью?
Окружность в океане пустоты
в блаженном состоянии покоя

иль чёрный круг, истерзанный огнём –
как в страшном сне – вражды
непримиримой?

Ужель, пока мы все объаты сном,
они глядят с небес невозмутимо

и судят нас, как высший судия,
за все грехи, за козни, преступленья
в превратностях земного бытия,
не высказав ни зла, ни сожаленья,

и терпеливо ждут минуты той,
когда заря – пока ещё не поздно –
разбудит нас предутренней порой?
Что видят звёзды?

Памяти Иосифа Вольфсона

Необозримо, высоко, огромно
ночного неба зыбкое панно.
Крупницами мерцающего сонма,
сияньем звёзд украшено оно.

И только та, что надо мной повисла,
быть может, безымянная звезда,
тревожит неухоженные мысли,
загадкой оставаясь навсегда.

Ничто, увы, не вечно под луною,
и даже там, над нею, в небесах,
случиться может с каждой звездой:
придёт пора – придётся угасать.

И может статься, что она погасла
и что её в небесной тверди нет,
но в час ночной я вижу так же ясно
одной звезды неугасимый свет.

Её посыл длинней тысячелетий,
и свет её по-прежнему в пути.
Как многим поколениям на свете
под той звездой суждено пройти!

Из цикла «Возвращение к истокам»

У Времени плутаю под ногами,
мешу болото путаных дорог.
Гонимый переменными ветрами,
ищу мой дом, ищу родной порог,

где не стеснялся материнской речи,
где чужаком никто назвать не смел,
где зажигали праздничные свечи,
благословив ниспосланный удел.

Там по утрам тревожные рассветы
нам обещали радость перемен.
Соблазны неизведанного «где-то»
нас из родных выманивали стен,

где всё казалось сказочным спросонья,
где печь струилась вкрадчивым теплом,
где мамыны шершавые ладони,
и свежий хлеб, и кринка с молоком...

А у меня – дорога под ногами,
и я в пути нелёгком изнемог.
Гонимый беспощадными ветрами,
ищу я то, чего не уберёг.

Бессонница

Ветер шумит в вершинах,
и кажется: в этот час
в зыбкой лесной трясине
черти пустились в пляс.

Купаясь в бесовском мраке,
не в силах себя превозмочь,
что может сказать мне гуляка –
волшебная пьяная ночь?

О том, что к сомненьям и боли
причастна её темнота?
О том, что к печальной юдоли
привязаны мы неспроста?

О том, что причуда-судьбина
сама выбирает пути?
...Ветер шумит в вершинах,
и ночь не спешит уйти.

Исход

Всё было впереди: земли чужой клочок,
пустынный край, безлюдный и безбрежный,
рассеянья разрозненный поток
и свет неумирающей надежды.

Израиль, Обетованная земля,
многострадальный край мой благодатный,
душой к тебе всегда благоволя,
в долгу я пред тобою неоплатном.

Отечество, в котором я не жил,
не строил дом и не молился в храме,
где ничего ещё не совершил,
живёт под голубыми небесами.

Для многих нас Египетский исход
судьба не завершила роковая.
Он продолжается, он всё ещё идёт,
не зная ни конца, ни края.

На грани

Мы на грани живём
с грузом древних преданий.
Мы – на грани добра
и извечных страданий.

Жернова, жернова...
Без пощады, без сбоя.
Только память жива
и не знает покоя.

Мы – на грани эпох.
Мы – на грани столетий.
Мы прошедшего времени
блудные дети.

Жизнь нас учит уму,
преподносит уроки.
Час придет – я пойму:
возвращаюсь к истокам.

Я нашел Божий храм,
где все дышит Востоком.
Я пришел туда сам:
возвращаюсь в истокам.

В этом храме молитв
Торы черные строки,
белоснежный талит, –
возвращаюсь к истокам.

Как немеркнувший свет –
мудрость древних пророков.
Через тысячи лет
возвращаюсь к истокам.

Злополучный наш век –
беспримерно жестокий.
Строю новый ковчег –
возвращаюсь к истокам.

БОРИС ЦЕРЕПАШЕНЕЦ

Чёртова поляна

Эта история случилась летом сорок третьего года. Наша дивизия держала оборону на плацдарме на левом берегу реки Волхов. Я служил в дивизионном батальоне связи. Командир дивизии, полковник Берулава, этакий зажавшийся военный бюрократ и сластолюбец, был занят, по общему мнению, только удовлетворением своих прихотей. Его любимой поговоркой было: «Всех баб поиметь нельзя, но к этому надо стремиться». И потому в отношении всех молодых и смазливых, прибывающих на службу в дивизию, было возрождено что-то вроде феодального права первой ночи.

Когда в батальоне появилась новая радистка Тамара Братищева, худенькая, кареглазая девочка со слегка выющимися волосами, ее сразу же отправили на «смотрины» к Берулаве.

Но она с таким презрением отвергла притязания полковника, гневно заявив, что не затем добровольно пошла служить в действующую армию, чтобы быть забавой пузатому старику, что комдив и вся его обслуга поначалу опешили. Берулава покраснел от гнева, но сдержался и нарочито ласково, тихо и медленно проговорил:

– Значит, я тебе старый и пузатый, так? Ну, что ж... Будут тебе одни молодые и стройные, будут...

И рывкнул:

– На «Чертову поляну»! И без моей команды от туда не отпускать!

Участок обороны дивизии, прозванный «Чертовой поляной», – это была покрытая мхом сырая низина, непрерывно насквозь простреливаемая противником с ближней высоты. Огонь велся днем и ночью, к тому же и шестиствольными минометами. Их огонь был чудовищно плотным, а осколки мин разлетались под таким острым углом, что зачастую оставляли на земле бороздки. Горячую пищу роте, оборонявшей поляну, приносили ползущие в предрассветную пору, когда огонь врага немного стихал, повара в ранцевых термосах. Но зачастую их убивали или ранили, и солдаты сутками питались размоченными ржаными сухарями и брикетами пшеничного концентрата. Целесообразнее было бы отвести роту на пару сотен метров назад, на более удобное для обороны возвышенное место, – но уже действовал знаменитый сталинский 227-й приказ «ни шагу назад», и никто из командования на это не решался.

Вместе с солдатами у рации под огнем находилась и Тамара. Девочка страдала и от сырости, и от стыда при отправлении естественных надобностей, и от грязи. В таких условиях люди быстро вшивеют. Но самым главным был постоянный страх, который, как ей казалось, доведет ее до безумия.

Каждый день наглый щеголеватый адъютант Берулавы повторял по радио предложение, но Братищева его с презрением отвергала. Каждые пять-семь дней, опять-таки в предрассветную пору, роту меняли, отправляя ее в дивизионный тыл. Там солдат обильно кормили, давали отоспаться, меняли нательное белье, верхнюю одежду отправляли в вошебойку. Тамара же оставалась на «Чертовой поляне». Однако силы де-

вочки были не беспредельны, и настал день, когда она сдалась. На рассвете адъютант притащил Тамару к полковнику, и тот, оглушив стаканом спирта, тут же изнасиловал её, грязную и вшивую.

Насытившись, Борулава отдал ее адъютанту: «Ну ее к дьяволу, неумеху. Бестолковая какая-то, да и ляжки у нее худые, не люблю таких».

Последующие дни превратились для девочки в сплошной кошмар. После адъютанта она попала к ординарцу, затем настала очередь obsługi: поваров, парикмахера, солдат комендантского взвода – охраны полковника. Тамара потеряла счет дням и ночам. Ее брали по-двое, по-трое. И все время водка, спирт, коньяк, вино. В итоге за короткое время чистая и наивная девочка превратилась в штабную шлюху и алкоголичку. Вскоре она надоела, а может, появилась новая жертва, и вышвырнули ее, как использованную тряпку.

В ее землянку в штабе дивизии мог прийти кто угодно и когда угодно и утешиться всего за стакан водки. Единственное, чего Братищева добилась, – ее не посылали больше на передовую. Ужас от пережитого на «Чертовой поляне» забыть она не могла. Изменилась она и внешне. Лицо отекло и отливало какой-то синевой, глаза потускнели, волосы всегда были всклокочены, да и вся она раздалась, обабилась. Все звали ее уже не Братищевой, а Блядищевой.

Был в дивизии мой земляк, командир миномётной батареи капитан Павел Ощепков. Хотя я считал его стариком, ведь ему было уже за тридцать, мы дружили. Встретились как-то с ним в штабе, обменялись новостями, вспомнили Москву. Проходя мимо Тамариной землянки, Павел сказал:

– Подожди меня здесь. Надо конец смочить.

Выйдя минут через двадцать, хмыкнул:

– А ты чего не идешь? Тамарка работает как машина, я ей целую бутылку оставил, и за тебя тоже.

Меня передернуло от гадливости, словно наступил босой ногой на жидкую коровью лепешку:

– Нет уж, как-нибудь потерплю.

– Ну и хрен с тобой, как хочешь.

И, протянув руку, сказал:

– Прощай. Завтра с утра батарея работать будет.

Вы уж, связисты, не подведите. Вечно у вас что-то отказывает.

– Не подведем, будь уверен. Не нравится мне твое заупокойное настроение...

На следующий день, управляя с переднего края огнем своей батареи, Паша Ощепков был убит наповал.

Время шло. Как-то придя в штаб, я увидел людей у Тамариной землянки. Часовые никого не подпускали. Заметив пробежавшего знакомого, спросил у него, в чем дело.

– Да пустяки, Тамарка повесилась! – на ходу прокричал он.

Мой ординарец, хитрец и насмешник Исай Гумеров, подумав, сказал:

– А домой, наверно, отпишут, что героически погибла, защищая честь, достоинство и независимость нашей социалистической Родины!

Вассерман

Хорошо помню тот день, когда в конце пятидесятых в нашем вооруженческом конструкторском бюро появился этот человек. В его внешности не было ничего примечательного: не очень молодой еврей, худой, невысокого роста, с копной уже начинающих седеть черных кудрей, темноглазый. Представился: Борис Григорьевич Вассерман. Немного погодя выяснилось, что по паспорту он именовался Борух-Лейба Гиршович. Именно так его называли начальник отдела кад-

ров и спецотдела.

Очень быстро все убедились, что новый сотрудник – человек необычайно увлеченный, конструктор, как говорится, от Бога. Обладая прекрасным пространственным воображением, технической фантазией и поразительным трудолюбием, он вскоре стал признанным авторитетом в конструкторской бригаде.

О себе, своем прошлом говорить он не любил, Тем не менее, вскоре все узнали о многом из его прошлой жизни. Институт он закончил незадолго до войны, работал у Туполева, вместе с которым прозябал в бериевской «шарашке». Одинокий, он занимал небольшую комнату в коммунальной квартире. В нашей компании остроловов Вассерман казался «белой» вороной». Никогда не принимал участия в постоянном трепе о политике, женщинах, спорте, новостях кино и эстрады. Все это было для него чем-то вроде китайской грамоты.

На политинформациях и прочих общественных мероприятиях он сидел с отсутствующим взглядом, и всякие попытки втянуть его в дискуссию оканчивались провалом. А между тем, был он не прост – технические журналы на английском и немецком языках читал, не прибегая к помощи переводчиц из группы информации. Его разработки поражали коллег своей оригинальностью и поначалу казались техническим бредом. Но Вассерман прекрасно умел доказывать реальность и полезность своих творений. Бывало, зажмет он оппонента в угол и так горячо и умно доказывает свою правоту, что тот в конце концов становится его сторонником. Борис Григорьевич ладил и с нашими ассами, рабочими опытного производства. Насмешники и охальники, они почти открыто посмеивались над чудаковатым еврейчиком, но, ценя его способности и незлобивость, уважая в нем работягу, охотно выполняли его заказы. Ко всему прочему Вассерман, как истинный инженер, был универсалом. По су-

ществу он работал не только как конструктор, но и как технолог, материаловед и аэродинамик, даже патентный поиск выполнял сам.

В итоге за короткое время он стал ведущим специалистом в отрасли и даже дважды был удостоен Госпремии. Когда чествовали Вассермана в связи с шестидесятилетием, он растрогался и заявил:

– Я счастливый человек: делаю то, что меня больше всего в жизни занимает, а мне за это еще и деньги платят, и вот даже награждают.

Как-то я спросил у него:

– Не испытываете ли вы, Борис Григорьевич, угрызений совести? Ведь все, что вы делаете, направлено в конечном итоге на уничтожение человека. Подумать только, такие умные и даже изящные изделия для уничтожения нескольких десятков килограммов человеческих костей и требухи...

– Видите ли, молодой человек, я просто-напросто пытаюсь решать сложные инженерные задачи, и это доставляет мне почти чувственное наслаждение. Но иногда, когда без сна ворочаешься в постели, меня охватывает страх. Представляется, что я держу ответ перед Богом. А он строго спрашивает, как я, Борух, воспользовался дарованной мне жизнью, – ведь он уберег меня от участи миллионов братьев и сестер моих, когда правил кровавый бал фашист, – так на что я потратил данный мне творческий дар?! И знаете, не нахожу ответа и ничем не могу перед ним оправдаться.

Для всех нас было потрясением, когда этот старый холостяк, который и женщин, казалось, не замечал, вдруг женился. Вернее, наша копировальщица – матерщинница и грубиянка, дама необъятных габаритов Клавка Салтыкова, – умыкнула тщедушного конструктора. Потом как-то быстро родила Борису Григорьевичу дочь. И тут он явил окружающим другую свою ипостась – нежного и любящего отца беле-

сой болезненной девочки, с рождения страдающей заболеванием щитовидной железы, чуть ли ни с грудного возраста носящей очки – мы все просто диву давались. Мать же дочку не любила и часто, когда та капризничала, в сердцах восклицала:

– Да уймись ты, вассерманово отродье, покоя от тебя никакого нет!

Эта вздорная шестипудовая баба мужа своего в грош не ставила, помыкала им, как хотела, и превратила его семейную жизнь в сущий ад. Вспоминается такой эпизод. На работе купил Вассерман в буфете дефицит – говяжью вырезку. На улице он внимательно стал рассматривать покупку, вертел ее так и сяк, нюхал, а затем швырнул в мусорную урну:

– Черт с ним, мясом. Моя Салтычиха все равно меня разругает.

Время шло. Дочь Вассермана умерла, и вся жизнь его сосредоточилась теперь на работе. Затем умер наш Главный конструктор. На его место был назначен Виталька Смирнов. Тот самый Виталька, который молодым специалистом был прикреплен для стажировки к Борису Григорьевичу. Как инженер Смирнов был абсолютным нулем, но зато общественником – непревзойденным. На этом поприще он и сделал карьеру: сначала на комсомольской работе, затем – на партийной. Приобрел высоких покровителей, и руководство министерства лучшей кандидатуры на должность Главного найти не смогло.

«Новая метла» стала наводить порядок. Смирнов решил выдворить всех специалистов пенсионного возраста, – так сказать, омолодить коллектив. И одним из первых под сокращение попал Вассерман, тем более, что был он одним из немногих в бюро представителей неприличной национальности. Для Бориса Григорьевича, который без любимой работы жизни не мог представить, увольнение было настоящей катастрофой. И он слезно попросил Смирнова:

– Виталий Иванович, не выгоняйте меня, я готов бесплатно работать. Мне пенсии вполне на жизнь хватает. Только оставьте мне мое рабочее место и не отбирайте у меня пропуск.

И вот двадцать лет подряд Вассерман безвозмездно трудился, каждый рабочий день с половины девятого до половины шестого, без отпусков. В выходные и праздничные дни, особенно холодной зимой, он не знал куда себя девать, тосковал по работе. Когда же было тепло, он приходил к скверику у проходной и часами, часто до позднего вечера дремал на скамейке в тени густых лип и кленов. Каждое рабочее утро брел Борис Григорьевич, худой и маленький, похожий на подростка, в старом костюме, опираясь на палку, превозмогая боль в подагрических ногах. Глаза его выветлились от старости, густые некогда кудри поределли и стали совсем белыми. Но, придя в бригаду, он сбрасывал свой пиджак, облачался в синий халат, касался старыми, с набухшими венами руками своего рабочего стола, включал компьютер, и глаза его опять загорались, а в голове появлялись новые идеи, которых хватило бы еще на полсотни лет. И как рыба, которую бросили в родную стихию, начинал свой очередной, неизвестно какой по счету рабочий день, и никто не мог бы дать тогда Бору-ху-Лейбе Гиршовичу Вассерману его восьмидесяти пяти лет.

МАРК ШЕЙНБАУМ

Брак по-зареченски

Браки, как известно заключаются на небесах. В Заречье они заключались ещё и в кабинете первого секретаря райкома партии. Об этом и рассказ.

Мощеных дорог в районе не было. Даже кусочка. А дорожный отдел был и, естественно, был у этого отдела начальник – Михаил Евдокимович Бабиц. Район изобиловал множеством рек, речушек, ручейков и канавок и соответственно множеством мостов и мостиков. Настил большинства этих сооружений состоял всего из нескольких брёвен, зачастую основательно прогнивших. Даже лошади предпочитали преодолевать ручейки и канавы вброд, минуя мостики, не без основания полагая, что так безопаснее.

Главной заботой Михаила Евдокимовича был мост через широкую здесь реку Стырь. Деревянный мост этот неизменно сносило весенним паводком. Перил он не имел, и даже в благополучные дни, когда ему, казалось, ничто не угрожало, шофера, прежде чем въехать на его доски, не забывали перекреститься. Только этот мост и связывал район с внешним «миром, и когда весной из разлившейся воды торчали лишь жалкие остатки его опор, все взоры с надеждой

обращались к Михаилу Евдокимовичу. Бабич, в прошлом подполковник инженерных войск, в эти первые послевоенные годы продолжал заниматься тем же, чем занимался на фронте. У него сохранилась фронтовая привычка влезать по пояс в ледяную воду и, как раньше с солдатами, вместе с рабочими подставлять плечо под непокорное бревно. Лег ему было за пятьдесят. Характер у него был покладистый, матом он почти не ругался, и в дни, когда главному мосту района угрожала опасность, всегда бывал трезвым.

Дважды в году на две недели он ложился в больницу на лечение, так как страдал злокачественным малокровием. В больнице он не пил, выказывая тем своё особое уважение лечащим врачам. В остальные дни трезвым не бывал. Нетрудно догадаться, почему Бабич оказался в Заречье. Район этот по своей отдалённости служил местом ссылки областного значения. Порой ссыльными оказывались священники, а иногда и сам первый секретарь райкома.

Дорожный отдел располагался в домике на краю райцентра, по своей сути – обычного села. В одной из комнат домика в одиночестве обитал Михаил Евдокимович. Обстановка в комнате была более чем скромной: многочисленные пустые бутылки занимали углы, а медный умывальник был укреплен на доске во дворе. Несколько совершенно незлобивых дворняг постоянно дожидались Бабича у крыльца, чтобы сопроводить в сельповскую столовую. Она с чьей-то лёгкой руки именовалась «Рестораном под мушкой» и состояла из крохотного обеденного зала, где помещался сколоченный из грубых досок длинный стол, и кухни, служившей одновременно буфетом. В двери, ведущей из «зала» на кухню, было вырезано окошко, через которое выдавались неизменные суп и котлеты, а также чай без сахара. К чаю продавались конфеты «Подушечка» – повидло, закатанное в сахарную массу.

На видном месте красовалось написанное от руки

объявление: «Приносить и распивать спиртные напитки строго воспрещается». Однако напитки приносились и во множестве распивались. Не был в этом отношении исключением и Михаил Евдокимович. Пил он как-то элегантно. Пьяным не валялся. В подпитии бывал исключительно вежливым и сокрушался, что учёные до сих пор не изобрели «беспохмельной» водки.

Перед столовой терпеливо дожидались прибежавшие за ним собаки и ватага мальчишек, которые его очень любили. Немного пошатываясь, Бабич с крыльца оглядывал собравшихся и произносил короткую речь, которая оканчивалась одной и той же сентенцией: «Я говорил и говорить буду: что на водке сэкономить – на лекарство изведёшь». Затем следовала раздача подарков терпеливой аудитории: мальчишки получали по горсти «Подушечек», собачки – по куску котлеты. Вопросов у аудитории не возникало.

Около года тому назад в район был прислан новый секретарь райкома – Гончар Николай Иванович. Он, в отличие от некоторых своих предшественников, рукоприкладством не занимался, учительниц в сёлах не насиловал и взяток не вымогал. То, что у него было всего четыре класса образования плюс курсы трактористов, не очень мешало руководить районом. Николай Иванович строго стоял на страже морали. Для укрепления её пользовался любой возможностью. Район захлестнул поток лекций на модную тогда тему: «О любви и дружбе». Во всех колхозных конторах висели плакаты, изображавшие Сталина с девочкой на руках, что должно было прославлять вождя и одновременно агитировать за прелести семейного счастья. Других плакатов на эту тему не нашлось. В своём рвении Гончар пошёл ещё дальше: подбирал по своему разумению семейные пары и женил их принудительно у себя в кабинете. Повод для этого, по его мнению, в каждом случае был основательным. Первой жертвой

оказался редактор местной газеты. Ему пришлось срочно жениться на райкомовской машинистке, у которой заметно округлилась талия, хотя он себя «автом» не признавал и, в крайнем случае, допускал лишь своё возможное участие в «большом авторском коллективе».

Пока в кабинете происходило уговаривание кандидатов в новобрачные, в коридоре уже дожидалась заведующая ЗАГСом с «Книгой записи актов гражданского состояния», а также два, ставшие уже штатными, свидетеля: райкомовские шофёр и конюх. Возражения кандидатов в новобрачные в расчёт не принимались. «Приговор» был окончательным и обжалованию не подлежал. Упорно сопротивлявшимся угрожало исключение из партии. Это действовало обычно безотказно. Шампанское новобрачным не подносилось. Среди местных холостяков возникла лёгкая паника.

Вызов в срочном порядке в райком для Бабича не был чем-то необычным. Он явился прямо с работы, небритым, в несвежей рубашке и пыльных сапогах. В кабинете Гончара он застал Марию Яковлевну Максай – даму в районе довольно известную. Вид у неё был растерянный. Бабич был с ней немного знаком. В селе ведь обычно все знают друг друга.

Мария Яковлевна была единственным адвокатом в районе. Ей тоже, как и Бабичу, давно уже минуло пятьдесят. Так же, как и он, она побывала на фронте. Так же, как и он, поклонялась Бахусу. Она была правоверным членом партии, и все письма, даже служебные записки, заканчивала фразой: «С коммунистическим приветом, Максай». Порой она всё же отступала от партийных принципов, и перед тем, как опрокинуть рюмку, торопливо её крестила, приговаривая: «Изыди, нечистая сила, останься чистый спирт!»

Иногда она впадала в крайний пессимизм, и тогда заявляла, что в этой жизни всё «сплошная муть»,

кроме самогона из Омута. Было в районе село с таким названием. Самогон оттуда обладал, по её мнению, особыми целебными свойствами.

Имела ли она юридическое образование – оставалось неясным. Марии Яковлевне приходилось довольно часто замещать судью, когда у того случался запой. Однажды в судебном процессе ей довелось выступить последовательно в двух ипостасях: вначале судьи, а спустя некоторое время – адвоката, так как процесс этот многократно откладывался. Возможно, это был единственный случай подобного рода в юридической практике. За свои адвокатские услуги она принимала плату в любом виде. Чаще всего это оказывалась бутылка самогона, заткнутая пробкой из кукурузной кочерыжки, иногда несколько яиц. Очень часто гонорар ею просто не взимался. Её возмущало только, когда клиент, преподнёсший ей бутылку спиртного, требовал вернуть тару. Снимала она угол в крестьянской хате. За квартиру не платила – нечем было. С неё уже плату и не требовали.

О том, как разворачивались события в райкомовском кабинете, известно немного. Гончар решил, вероятно, что, вступив в законный брак, молодожены бросят пить. Говорят, женитьбе Бабиц сопротивлялся, как мог. Он, в частности, заявил, что, как правило, ощущение счастья в браке у него возникает лишь в день развода, а развод по непонятным причинам стоит куда дороже регистрации брака, хотя участники те же и накладные расходы у государства не выше. Ходили слухи, что Мария Яковлевна настаивала, чтобы Бабиц хотя бы для вида попросил у неё руки, на что он после некоторых проволочек согласился. Выйдя из здания райкома, оглушённый происшедшим, Бабиц заметил: «В который раз, и опять без галстука». Невеста промолчала. Зажили новобрачные у жениха. Медовый месяц длился всего неделю. На прощание они крепко выпили. Мария Яковлевна вернулась на свою

холостяцкую квартиру. Бабич продолжил походы в «Ресторан под мушкой». На настойчивые вопросы о причинах развода неизменно отвечал: «Не сошлись во взглядах... на закуску».

Прошло полгода. Бабич лёг в больницу по поводу очередного обострения анемии. Однажды его всё же навестила Мария Яковлевна. После ее посещения на тумбочке у изголовья Михаила Евдокимовича остался лежать кулек с конфетами «Подушечка».

Картопляна

Село, показавшееся за излучиной реки, выглядело весьма необычно. Казалось, что оно в XX век перенеслось из далёкого прошлого. Какими-то фантастичными смотрелись заборы высотой в полтора человеческого роста, сложенные из едва отёсанных брёвен. Кое-где виднелись толстые колодезные журавли и соломенные тёмные крыши притаившихся за заборами домов. Всё это, включая сосновый бор на противоположном берегу реки, было щедро украшено инеем. Тишина нарушалась только ленивым собачьим лаем.

Здесь предстояло мне поработать в участковой больнице несколько месяцев.

Я должен был замещать докторшу, ушедшую очередной раз в декретный отпуск. Замещать её приходилось мне по разным поводам довольно часто.

Время, о котором идёт речь, – самое начало пятидесятых.

Район, где располагалось село, находился в труднодоступных местах западноукраинского Полесья, граничил с Белоруссией и в недавнем прошлом входил в состав Польши. Это определяло особенности местного наречия: причудливую смесь украинского,

белорусского, польского и русского языков. Многие слова, только недавно вошедшие в употребление в здешних местах, искажались иногда до неузнаваемости самым забавным образом. Я восторгался всегда, когда больничный конюх именовал нашу заврайздравотделом – «задравотделом».

Старушка, встреченная мною как-то на улице райцентра, спросила, как найти здесь «раком – задом», имея в виду, как потом выяснилось, «Уполминзаг» – контору уполномоченного министерства заготовок (существовало тогда такое учреждение). Языковые сюрпризы подобного рода были на слуху повседневно. «Картопляна» – один из них.

Участковая больница находилась на хуторе, в трёх километрах от села. Вокруг, среди лесов и перелесков, стояли разрозненные усадьбы, в которых жили преимущественно польские семьи. В одной из таких усадеб жила бывшая помещица – пани Ядвига Фальковская. Как случилось, что она до сих пор не поменяла очарование здешней природы на красоты Сибири, так и осталось неясным. Было ли это следствием «недосмотра» кого-то из работников районного КГБ, или причиной послужили транспортные трудности этих мест, можно только гадать.

Её усадьба в это время представляла собой довольно убогое зрелище: половина окон была заколочена, часть крыши зияла дырами, от бывшего крыльца сохранились лишь два крупных отёсанных камня – возможно, остатки колонн. Впрочем, и в польские времена помещики Фальковские особым богатством не отличались. Пан Фальковский умер перед началом войны, детей у супругов не было. Одинокая, очень уже немолодая, пани Ядвига одевалась довольно странно: в её одежде причудливо сочетались остатки былых нарядов с обычной для тех мест крестьянской одеждой. Она ходила в старомодной шляпке и ватнике, из прорех которого выглядывала вата.

Рассказывали, что в предвоенные годы пани Ядвига мягкостью нрава не отличалась и соседней-крестьян дальше крыльца в дом не пускала. Сейчас беспомощную женщину трогательно опекали эти самые соседи, полностью забыв прошлые обиды. Помогали вскапывать огород, заготавливали дрова, иногда приносили молоко. Сказывались перенесённые вместе беды военных лет и, вне сомнения, незлобивый крестьянский характер.

Ближайшим соседом пани Ядвиги был завхоз здешней больницы – Григорий Васильевич Смоляк. Человек немногословный, предельно честный и очень скромный. Только спустя несколько лет, когда его уже не было в живых, я узнал о его партизанском прошлом. Однажды Григорий Васильевич обратился ко мне с необычной просьбой. Он просил использовать мои «связи» в райцентре и защитить пани Фальковскую, которая два дня безутешно плачет, так как у неё «реквизировали картопляну».

Слово «реквизировали» мне удалось расшифровать сравнительно легко. Григорий Васильевич, на мой взгляд, удачно соединил слово «реквизировать» со словом «экзигировать», которое слышал от медиков и которое означает – «умереть». Сочетание двух терминов отлично выражало безжалостность реквизиции, её необратимый характер.

Значительно труднее дело обстояло со словом «картопляна». Я долго не мог понять, что, собственно, было у пани Ядвиги «реквизировано». Оказалось, что эту самую «картопляну» реквизирует у неё финотдел за неуплату налогов в размере 78 рублей, за которые вряд ли можно было тогда приобрести даже пару резиновых сапог. Сумма, однако, для пани Фальковской непосильная.

На украинском языке «картошка» – это «картопля». Но «картопляна»? Само собой понятно, что в середине зимы у пани Фальковской никаких запасов

картошки уже быть не могло. Но после того, как Григорий Васильевич добавил, что пани Ядвиге теперь играть будет не на чем, я догадался, что речь, возможно, идёт о «фортепьяно», которое каким-то чудом сохранилось у старухи. Я не ошибся. Григорий Васильевич, который так оригинально изменил слово «фортепьяно», заметил, что ему очень жаль пани Ядвигу. Мне тоже стало жаль пани Ядвигу, да и наказание, ею понесённое, показалось несоразмерным «преступлению». Одним словом, я согласился на роль самозванного адвоката, хотя с Фальковской лично знаком не был.

По слухам, «картопляна» была увезена представителем финотдела в районную МТС (Машинно-тракторную станцию), и там украсила собой «красный уголок». Насколько мне было известно, рояль пани Фальковской был единственным инструментом подобного рода в округе, ни один сельский клуб в то время не располагал даже стареньким пианино.

Телефонная связь в районе очень напоминала, вернее, полностью соответствовала технике связи времён гражданской войны. Чтобы куда-либо дозвониться, нужно было долго и энергично крутить ручку аппарата, переговариваться с телефонистками, и только после этого удавалось услышать голос желаемого абонента, если, конечно, повезёт. Мне повезло: в тот же день я сумел связаться с директором МТС. Контора МТС и её «красный уголок» располагались в тесном помещении барачного типа. Директор сообщил, что, по его мнению, рояль в его предприятии как-то не совсем к месту. «Подарен» рояль был финотделом вовсе не безвозмездно, по распоряжению кого-то из райкома партии. Да и инструмент не полностью помещается в «красном уголке» – часть его торчит в коридоре и мешает проходу.

Затем директор добавил, что ни один его тракторист консерваторию не кончал, и единственным раз-

бирающемся в музыке человеком у них является старенький бухгалтер, который в молодости пел в церковном хоре, а сейчас уже неважно слышит. Так что потеря инструмента не будет болезненной и на производительности труда, видимо, не отразится.

Оставалось разжалобить финотдел.

Тут меня постигла крупная неудача. Мне прочли довольно длинную лекцию о том, что налоги в бюджет поступать должны, что в районе почему-то снизилось потребление водки и, как следствие, отощали финансы. Даже зачитали телеграмму, полученную из облисполкома, с требованием срочно принять меры по разгрузке вагона с водкой на ближайшей железнодорожной станции.

Стало ясно, что дело пани Фальковской начинает приобретать политическую окраску, а это уже опасно. Всё же я попытался указать на явное несоответствие ценности изъятого фортепьяно сумме долга. На что последовал ответ: рояль у пани Фальковской был единственной вещью, которую можно было сдвинуть с места без риска, что она тут же рассыпется. Предпринятая попытка вынести шкаф привела к полному его разрушению. Кровать же пани Ядвиги по закону реквизиции не подлежит.

Хлопоты, казалось, зашли в тупик. И тут меня осенило: единственным человеком, который может обойти рогатки всяческих установлений, а иногда даже указания райкома партии, если они, конечно не исходят от самого первого секретаря, является прокурор. Он человек незашоренный, да и взаимоотношения у нас приятельские... Прокурор, правда, не преминул заметить, что я толкаю его на поступок, несоместимый с классовым правосознанием, поскольку пани Фальковская, хоть и бывшая, но всё же помещица. Тем не менее, вмешательство состоялось. К вечеру следующего дня из окон больницы можно было видеть, как пара эмтеэсовских лошадок неспеша тянула

сани в направлении дома пани Ядвиги. На санях вверх ногами лежал рояль. Медные колёсики его поблескивали в лучах заходящего солнца.

Отдала ли долг финотделу пани Фальковская – не знаю.

В глубине души я надеялся, что за мои хлопоты буду приглашён к ней и услышу Шопена в её исполнении, возможно, при свечах. Надежды оказались напрасными. Как поведал Григорий Васильевич, на рояле когда-то играл пан Фальковский, пани же Ядвига иногда задумчиво наигрывает одну-единственную мелодию: «Влязл котек на плотек...», что является польским эквивалентом всем известного «Собачьего вальса».

У ЛЬЯНА
Ш ЕРЕМЕТЬЕВА

Двенадцать строчек о любви...
Кто скажет: мало или много?
В них столько вложено мольбы,
Восторга, муки и тревоги.

Двенадцать строчек – цепь огней,
Что полыхает на странице
В тиши бушующих ночей,
Когда в смятении не спится.

Двенадцать строчек, их черед
И каждый слог давно известны,
Но, перечитывая, вновь
Пленишься образом чудесным.

Какой же сильною была
Волна безумства и блаженства,
Что эти строки создала
Одним дыханьем совершенства.

И пусть поэм, где долог строй,
Сравнится хоть один листочек
С тем, что раскрыт передо мной
И где всего двенадцать строчек.

Ночное метро

Лиц поблекшие пятна,
Душный сумрак вагона,
Я лечу в подземелье,
Удаляясь от дома.

Душный сумрак вагона,
Тормозов переключка,
И мелькают перроны,
И гудит электричка.

Я лечу в подземелье,
Да полет мой бескрылый,
Всё внутри онемело
От видений тоскливых.

Удаляясь от дома,
В мыслях еду обратно...
Душно. Сумрак вагона,
Лиц поблекшие пятна.

Скорей забыть, забыть, забыть,
Чтоб вдруг нечаянно не вспомнить
В слезах – оскоминны обид,
И чью-то зависть, и злословье.

Забыть ошибки, чтоб не жгли,
И пальцы цепкие напастей,
И боль, когда ты у судьбы
Застрянешь косточкою в пасти.

Всё горькое отгородить,
Всё смутное развеять ветром.
Не стоит заново тужить
О том, что стало едким пеплом.

Суметь рождаться каждый день
С улыбкой, к солнцу обращённой,
Чтоб не нашла на сердце тень.
А зло осталось всепрощённым.

Прощанье с осенью

Оком огненно-печальным
Солнце вспыхнуло в ветвях –
Этот миг, как взгляд прощальный,
Осень дарит второпях.

Что-то гложет. И туманом
Застылаются глаза.
В этой роще скорбно-пряной
Не печалиться нельзя.

Больно слышать под ногами
Вздых мертвеющей листвы,
Почерневшими руками
Небу молятся кусты.

Погодите же, колдунья,
Польхните ещё раз –
Неизбежность не минует,
Отдадите ж этот час.

Как заставить ожить эти краски,
Вдруг из хаоса вызволив свет,
Не нарушив ни правды, ни сказки,
Отыскать в них несбыточный цвет.

На палитре, уставшей от страсти,
Навести вдохновения сок,
Утопить в нем любые напасти,
Сделав кистью последний мазок.

Раствориться то в красном, то в синем,
Стать лучом или свежей волной,
Безразличие холста пересилив,
Растревожив бумаги покой.

Вздых, и трепет, и пульса биенье –
Как заставить всё в красках ожить?
Тайны нет, как и доли сомненья –
Надо просто в них душу вложить.

МИХАИЛ ЭНЕНШТЕЙН

Шлима Ратковская (Из цикла «Еврейские судьбы»)

Последние лучи солнца через открытое окно выветили портрет женщины во весь рост. Ее обнаженные руки стали розовыми, словно крылья волшебной птицы. Казалось, она парит в отсветах уходящего дня, загадочно улыбается и куда-то зовет. Сумерки постепенно заполняли комнату. Фигура парящей женщины теряла четкость, размывалась и, наконец, растворилась во тьме. Но Николаю Хрисанфому казалось, что он ее видит, ощущает теплоту ее тела, чувствует запах волос и слышит шелест платья. Она всегда была рядом, в нем, в его душе. Уже много лет он безответно любит эту женщину и носит этот крест, сгибаясь под тяжестью отчаяния и безнадежности. Но эта любовь была и его счастьем, с которым он не мог и не хотел расставаться. Многочисленные операции ног, перенесенные в детстве, испортили его характер, сделали нелюдимым и замкнутым, а одиночество прирастило к вину. Николай работал на новых землях Украины, где строил противотанковые укрепления, изредка приезжая к матери в город у моря, в тот дом, где с двумя детьми и мужем жила любимая им женщина.

В тот субботний вечер он сидел перед портретом, пристально всматривался в ее глаза, словно видел их в первый раз. Лицо его бледнело, становилось угрюмым. Тоска медленно продбиралась к сердцу, выталкивала его вверх к горлу, не давая дышать. Николай вышел на улицу и долго бродил по городу, не пропуская многочисленных кафе и ресторанички. Под утро придя домой, он с укоризной посмотрел на портрет, хотел что-то объяснить, но передумал и, прочитав надпись, сделанную ее рукой, крикнул:

– Нет! Нет! Нет!

Не проходила любовь, вспыхнувшая еще тогда, когда мальчишкой мать возила его на перевязки после очередной операции. Весь остаток ночи ему снилась эта женщина. Она не улыбалась, лицо ее было печальным, отрешенным, а глаза полны страха и слез. Ему стало зябко, тело напряглось и покрылось испариной. Он целовал ее руки, глаза, пытаясь высушить слезы, а сердце колотилось от непонятной тревоги.

Звонок в дверь прервал его сон. Проклиная незваного гостя, Николай открыл дверь.

– Война!...

Теперь он понял смысл недосмотренного сна:

– Ей нужна моя помощь, – мелькнула мысль.

– Ей нужна моя помощь, – уже вслух сказал он и быстро стал собираться.

Сняв со стены портрет, Николай в сотый раз перечитал на нем надпись: “Поверь. Все пройдет, только нужно уметь ждать. Шлима”, бережно свернул полотно в рулон, уложил в чемодан и навсегда ушел из этого дома.

* * *

Шлима Ратковская, дочь биндюжника, была красива. Господь Бог от щедрот своих отпустил ей полной мерой и почему-то дал внешность, отличную от ее соплеменников: слегка вздернутый нос, светло-ка-

рие глаза с веселыми чертиками и золотистые волосы. Студент третьего курса медицинского института Абрам Мовермахер влюбился в нее и, чтобы содержать семью, бросил учебу и пошел работать на завод.

Отец Абрама был против этого брака, считая, что дочь биндюжника не чета сыну портного.

– А с лица, – как говаривал он, – воду не пить.

Бывший студент отца ослушался и вскоре они поженились. Разъяренный старик отказал им от дома, чертыхнулся и запричитал, обращаясь к давно умершей жене:

– Сурра! Как тебе нравится наш Абрашка? Какое счастье, что ты не дожиди до этого дня! Наш сын, скоро доктор, перестал учиться заради этой капцанки* с Госпитальной! Какое горе, Сурра! Пока ты умерла, дети перестали бояться своих отцов!

Но когда родилась черноглазая копия его жены, сердце портного дрогнуло, он объявил себя больным и три дня не вставал из-за швейной машинки. Приказав отнести внучке приданое, велел всем собраться к ужину.

Старик разлил вино по бокалам и торжественно произнес:

– Слушайте сюда, я имею говорить за хорошее. Эта девочка, таки да, выкопанная Сурра, пусть земля будет ей пухом. Моя внучка проживет сто двадцать лет и будет нам всем здорова. Это говорю вам я, Давид Мовермахер, – добавил он и выпил вино до дна.

Весь вечер старик удивленно рассматривал сына, который не выпускал руку жены и, может быть, впервые за свою долгую жизнь увидел рядом мужчину и женщину, в глазах которых горел огонь любви и неупокоенного желания. Он впервые пожалел, что не испытал ничего подобного. Портной пытался вспомнить женщин из своей жизни, которые так же влюбленно смотрели на него, как смотрит Шлима в глаза его

* Капцанка (*идии*) – нищенка, беднячка

сына, но вспомнить не мог. Их просто не было, а Сурра, которая родила ему детей, казалось, всегда была больной и старой.

«Оказывается, Господь Бог лучше меня знает, что нужно для счастья моему сыну», – подумал он, а вслух сказал:

– Абрашку прощаю, а внучку беру на свой кошт до самой свадьбы.

Потом родилась еще одна девочка с беленькими волосиками, очень похожая на мать.

У Шлимы был легкий характер, она дружила с соседями, помогая тем, кому жилось хуже, чем ей, особенно тете Даше. Старая женщина, дочь раскулаченного крестьянина, жила в подвале под домом и зарабатывала на хлеб стиркой белья. Шлима старалась облегчить ее жизнь, приносила лекарства, еду и часто таскала воду из дворового крана, заполняя двухсотлитровую бочку. Даша встречала ее виноватой улыбкой, предлагала что-нибудь постирать, но Шлима всегда отказывалась.

Двор дома на Молдаванке, где большую часть жизни проводили жильцы, как и многие дворы вокруг, жил по своим неписаным законам. Как в любом замкнутом пространстве, здесь нередко случались ссоры, а то и драки, но ходить в милицию за правдой считалось плохим тоном и, как правило, они заканчивались мировой за кувшином сухого вина. Обитатели этих дворов знали все друг о друге, были любопытны, сентиментальны и жалостливы. Жалели бездомных собак и всем двором отбивали их от гыцелей*. Жалели Балобанчука, который жил в маленькой каморке с одиннадцатью котами и принципиально не ходил в баню, бабу Афию, пересолившую борщ. Жалели Адель Степановну, купившую черный лифчик не по размеру, но особенно за то, что приличный мужчина не здоровался с дворничихой, когда по пятницам

* Гыцель (укр.) – ловец бездомных собак.

выходил из Аделиной квартиры. Это было непозволительно в обычаях Молдаванки.

Словом, двор жил как кем-то заведенный механизм. Правда, изредка он давал сбои, но ритм быстро восстанавливался и жизнь текла дальше.

Война внезапно остановила этот механизм и центробежная сила обстоятельств выбросила каждого его обитателя на свою собственную дорогу судьбы.

Как известно, испытание войной расставляет всех по своим местам. Многие соседи по дому, где жила Шлима, не выдержали этот экзамен. Теперь это были совсем другие люди. Жернова войны размалывали в них доброту, порядочность и сострадание. Запрятанные в закоулках души жестокость, алчность, ненависть изливались на тех, с кем жили рядом, у кого еще вчера одалживвали десятку до зарплаты и сидели рядом за праздничным столом.

...Жизнь в доме едва теплилась. Мужчины ушли на фронт, ушел на войну и Абрам Мовермахер. Двор стал молчаливым, ощетинился страхом и сник, словно футбольный мяч, из которого выпустили воздух. Его жители сидели по квартирам и встречались только во время бомбежек в подвалах под домом. У ворот собирались одни старики и вели нескончаемые споры о судьбе города. Адам Дратва держал соседа за карман пиджака, хрустел зубными протезами и, брызгая слюной, кричал:

– Придурок! Город ни-ког-да не сдадут! Город себя еще покажет! На подходе «самасшедшие» резервы и они...

– Знаю, знаю, – тихо перебил его хромой Фишман, – их прогонят до самой границы, да?

– Конечно, да! На Привозе только за резервы говорят! – продолжал греметь Дратва. – В 1905 году, когда мы...

– Знаю, знаю, – опять перебил его Фишман, – держали оборону на улице Средней...

Оба замолчали. Пожав плечами, Яков Фишман, тяжело опираясь на костыли, побрел домой.

Дратву во дворе считали революционером. В 1905 году, во время еврейских погромов, он, единственный христианин, вступил в еврейский отряд самообороны, который давал отпор черносотенцам. Считая, что мнение соседей обязывает, он собирался дожить до мировой революции, которая должна была вот-вот свершиться.

Уже несколько дней город не бомбили и не было слышно канонады. Адам ходил именинником, считая, что «самашедшие» резервы начали действовать. Ночью он несколько раз выходил на балкон, прислушивался, смотрел в небо, но было тихо. Почему-то пахло вином. Дратва не знал, что из развалин взорванного отступавшими войсками коньячного завода по улицам текут винные реки.

И пока у ворот оптимисты цитировали строки газет о том, что в город никогда не вступят оккупанты, в него входили немецко-румынские войска...

* * *

Шлима шла по ночам, а днем пряталась в пустых коровниках или стогах сена. Она почти ничего не ела. Редкие картофелины, мелкие кочаны капусты с убранных огородов были ее пищей. Есть не хотелось, но чувство самосохранения подсказывало, что это необходимо, и она с отвращением впихивала в себя все съестное, что попадалось на ее пути. Днем, закапываясь в сено, Шлима немного отогревалась. Распухшие ноги саднили и кровоточили, едва вмещаясь в рваные ботинки. Подошвы, привязанные лоскутами ткани, оторванными от пальто, плохо держались, и их приходилось то и дело приматывать. Заснуть она не могла, боль железным обручем стискивала голову, впиваясь в каждую клеточку мозга. Только иногда напоззала

дрема. Она проваливалась в другое время, и тогда ей слышались автоматные очереди, взрывы, детские крики и успокаивающий голос старой Кукки, ее матери, которая никогда не теряла мужества и человеческого достоинства. Шлима вскакивала, готовая бежать на помощь, не понимая, сон это, явь или галлюцинация.

С наступлением темноты она снова пускалась в путь, и ориентиром ей служили то детская туфелька, то платок, то костыль, а то и людские трупы, около которых дрались одичавшие собаки. Она возвращалась с того света, по той же дороге, по которой их гнали на смерть, и казалось, эта дорога хранит отзвуки шарканья тысяч подошв и стонов умирающих, которых пристреливали конвоиры. Шлиме слышалось горячее бормотание старика в лохмотьях. У него не было сил идти, но желание жить толкало его вперед, и он полз за колонной по хляби, загребая ее руками, словно пловец по водной дорожке. Грязь забивала глаза, уши, он почти ничего не видел и не слышал. Не слышал ни гогота солдат, ни их споров о том, сколько еще продержится старый жидан, прежде чем получит пулю в голову. Если бы этот несчастный не был облеплен грязью, Шлима узнала бы в нем портного, который обещал ее дочери сто двадцать лет жизни...

И сейчас, словно наяву, старик полз, и она опустилась на колени, стиснула зубы, чтобы не закричать, и царапала землю, ломая ногти и проклиная судьбу, людей и Бога, допустившего все это. В такие минуты ненависть удваивала ее силы, словно два сердца разгоняли кровь по ее телу. Во рту становилось сухо, в горле першило, а лицо покрывалось красными пятнами. И она снова и снова шла вперед к своей цели, безошибочно находя дорогу ночью, убежища днем, умело обходила села, не сталкиваясь с их жителями. В своем возбужденно-бредовом состоянии Шлима не понимала, что возвращение в город, где многие ее знали,

тем более в свой дом, смертельно опасно, как не понимала, что жизнь, дарованную случаем, нужно сохранить, чтобы рассказать о людях, убитых на обочинах этой войны. Ее поступками руководили не логика, не здравый смысл и не привычные житейские мерки. Ее воспаленное сознание потеряло обычные ориентиры в трагическом нагромождении последних событий. Страх забыть лица своих детей, как наваждение, постоянно преследовал ее. Одна мысль, одно желание сжигало ее душу: разыскать их фотографии, и она упорно шла к своему дому, ежеминутно рискуя жизнью. Порой ей казалось, что не фотографии ждут ее дома, а дети, и она сможет покаяться в том, что в последний миг их жизни не была рядом и не разделила их судьбу. Все другое вытеснилось из сознания и не существовало.

* * *

Утро застало Шлиму в полуразрушенной хате. Двери и окна были сорваны. Сквозняки в проемах разгоняли снежную круговерть. Стало светать. Снегопад прекратился. Желтое солнце поднялось над городом и покатилося к западу. Покинутые хаты, крытые камышом, казались большими птицами в снеговых шапках, дремлющими среди необрушенных огородов. Шлима села на пол. От стен веяло холодом, но она его не чувствовала. Мысль, что уже этой ночью она доберется до своего дома, лихорадкой нетерпения будоражила ее сознание, но до темноты было еще много часов, и никому не дано было предугадать, что ждет ее впереди.

Повезло

(Из цикла «Еврейские судьбы»)

Моя память – словно фотобумага, опущенная в проявитель. Вначале проступают мелкие детали, потом крупные фрагменты, постепенно сливаясь в цельное полотно тех событий, которые забыть не дано. Как не дано забыть ни затхлый воздух *цели**, где мы прятались от бомбежек, ни военный запах моря, отдающий нефтяными пятнами, ржавым железом и гниющим деревом, ни пронзительный вой сирен. И, конечно же, не забыть мысли семилетнего мальчишки, который плохо понимал, что происходит.

* * *

Мой отец плакал. Слезы оставляли светлые бороздки на его пыльных щеках...

«Потемкин Таврический» лениво прокручивал винты. Его корма была еще связана тросом с причальной тумбой, а нос медленно разворачивался к выходу из гавани. Опираясь всем телом на палку, отец протягивал к пароходу руки с зажатыми в них проездными литерами и сквозь слезы умолял взять нас на борт. Но пароход, отдав швартовы, двинулся в открытое море.

Мама обняла отца и тоже заплакала. Она растерялась. Отец был очень веселым человеком, мужественно перенес болезнь, сделавшую его инвалидом, часто шутил и смеялся. Я никогда не видел плачущих родителей и остолбенело стоял, разинув рот. Мне было жарко и неудобно в зимнем пальто до пят с котомкой за плечами, веревки которой все время сползали на руки. Еще дома я не хотел его надевать, так как было совсем тепло и мы должны были скоро вернуться. Но

*Цель – защитное сооружение противовоздушной обороны: специально вырытая продолговатая прямоугольная яма, перекрытая бревнами и присыпанная землей; вход и выход устроены на противоположных ее концах.

мама прикрикнула :

– Делай, что говорят!

Это купленное не по росту пальто на вате в дальнейшем оградило меня от многих бед и, возможно, спасло жизнь.

Мне было жаль отца и мать, но плакать не хотелось. В порту было интересно. Пароходы сплошной стеной стояли у причалов, и их можно было даже потрогать руками. Я во все глаза смотрел на хоботы подъемных кранов, они несли огромные сетки с тюками; на грузчиков, снующих по сходням с большими мешками на спинах; на красноармейцев с очень длинными винтовками. Солдаты охраняли широкие плоские ящики, подозрительно оглядывая всех, кто проходил мимо, и не разрешали останавливаться.

Мы побрели устраиваться в одну из многочисленных щелей. В соседних убежищах было много детей, но играть с ними и уходить от нашего укрытия мне не разрешали. Каждую минуту могли объявить воздушную тревогу и мама боялась, что я потеряюсь. Во время налетов она прижимала мою голову к своим коленям и обхватывала ее руками. Ей казалось, что осколки могут пробить толстые бревна наката.

Меня же не пугали ни завывания сирен, ни свист падающих бомб, ни грохот взрывов, ни лай зениток. Мне было страшно только один раз: по дороге в порт во время бомбежки мы прятались в подъезде жилого дома. На моих глазах убило лошадей, которые везли наши вещи.

Окровавленные животные бились в спутанной сбруе. Одна из лошадей в агонии пыталась подняться, но снова заваливалась на спину, сучила в воздухе ногами, словно нашла опору и продолжала бег. Отполированные лошадиной работой подковы на ее копытах неестественно смотрели вверх. Солнечные лучи, отражаясь от них, зайчиками прыгали в пыльной листве. Их блики гипнотизировали меня, и я не мог ото-

рвать взгляд от этого ужасного зрелища. Мне казалось, что это я стою на голове и потому вижу лошадь, бегущую по воздуху вверх ногами. Мама пыталась увести меня вглубь подъезда, но я отчаянно сопротивлялся и истошно кричал. Бабушка Кукка дрожащими руками вытащила из ридикюля проездные литеры и заявила:

– Никуда не еду! Я помню немцев по четырнадцатому году... – она на мгновение замолчала и, словно что-то вспомнив, тихо, как бы про себя, закончила, – они очень приличные люди...

Мама не смогла ее переубедить, а доводы отца она вовсе не слушала. Бомбежка закончилась, стало тихо. Клубы пыли медленно оседали, затягивая серым налётом землю, лужицы крови и трупы лошадей. Бабушка и мамина сестра Шлима с двумя ее детьми повернули домой...

На меня надели котомку, и мы пошли в порт. Отец сильно хромал, нам приходилось его ждать, и мы опоздали на посадку.

* * *

Уже три дня мы жили в щели. Волей войны заброшенные в человеческое месиво порта, мы, как и тысячи беженцев, пытались попасть на уходящие суда. Отец уходил утром и целый день пропадал. На одном из причалов он встретил родственников. Они ждали теплоход «Ленин», на котором уезжали, как сказал отец, большие люди. Это были крупные чиновники. Мы тоже хотели на него попасть, но ничего не получалось. Наши «высокие» родственники только разводили руками. Мама считала, что они не пытались нам помочь – мы были людьми не их круга. Отец был высокого роста, и я не понимал, почему нас не хотят брать на этот большущий белый пароход. Я еще не знал, что «большие» люди – это люди, которые незримой, но очень прочной стеной власти, благополу-

чия, а иногда вседозволенности отделили себя от других.

* * *

Пятые сутки мы ютились в укрытии. Однажды я ускользнул погулять, но, услышав мамины крики, быстро вернулся. Испуганная бледная мама надавала мне по щекам и сказала, что я сведу ее в могилу раньше, чем утопит Гитлер.

Узнав, что завтра уходит пароход с беженцами, мы решили попытаться счастья. Едва забрезжил рассвет, у маленького суденышка выстроилась огромная очередь. Даже несколько судов такого размера не смогли бы вместить всех желающих получить спасительное место. Люди, понурившись, молча ждали посадку. Даже дети не бегали, не играли, не плакали. Вцепившись в одежду родителей, они, как маленькие старички, умудренные опытом, тоже терпеливо ждали. Сигнал к посадке разбудил этот людской разлив. Что-то крича, кого-то проклиная, все кинулись к трапу. Капитан с ходового мостика тоже что-то кричал, кому-то угрожал, но его никто не слушал. Это уже была толпа – разъяренная и неуправляемая, которая дралась за свое выживание. Нас быстро оттеснили от трапа, не оставив никаких надежд оказаться на борту. Мы вернулись в свою яму.

Порт часто бомбили. Я почти не вылезал из щели, а между налетами обычно играл у двери убежища или глазел по сторонам. Однажды мимо проходили два грузчика. Они остановились, и один из них сказал:

– Дывысь, Дмытро, який смийний жидок у доьгому пальти! Мабуть дэсь вкрав.*

– Я не вор, не вор!

– Вы усэ пораскрадали, тай тикаетэ!**

Мама выскочила из укрытия и стала кричать, что

* Смотри, Дмитро, какой смешной жиденек в длинном пальто! Небось, где-то украл. (укр.)

** Вы всё поразворовали, а теперь убегаете! (укр.)

в городе, слава Богу, еще Советская власть, что это им не девятьсот пятый год, и она не позволит оскорблять ребенка.

— Зачины* свое хайло, жывидка! — сказал другой, и они ушли.

Играть мне было не с кем, и от скуки я считал пароходы у причалов, иллюминаторы на их бортах, ящики, сложенные в штабеля, и солдат, идущих на посадку. Время шло, а мы все не могли прорваться на уходящие суда. Мама нервничала и часто на меня кричала. Отец шопотом говорил мне, что она на грани срыва и просил не обижаться. Не обнаружив места, куда бы мама могла сорваться, я все-таки крепко держал ее за руку, когда мы подходили к краю причала. Вечером отец сказал, что город окружен и, очевидно, будет сдан фашистам. Ночью я не мог заснуть и думал:

— Где наши Ворошиловские стрелки, где конница Буденного? Может быть, она утонула вместе с Чапаевым?

* * *

Прошло еще несколько дней. Наконец грузчики за взятку обещали нас посадить на сухогруз «Жан Жорес».

Взвалив папу и меня на плечи, они велели маме держаться за мою ногу и, растолкав толпу, затащили нас на палубу парохода.

Всех пассажиров посадили в трюм. Когда сухогруз бомбили, крышку закрывали. Становилось темно и страшно. Бомбы рвались в воде близко от бортов, и в трюме стоял страшный гул. Все кричали, плакали и прощались. Одна старушка, держа в руках мальчика, как заводная повторяла:

— Аня! Надень ребенку галоши, если попадет бом-

* Заткни (укр.)

ба, мальчик промочит ножки!..

Нам повезло, бомба в «Жана Жореса» не попала, и мы прибыли в Новороссийск.

После нескольких переездов мы попали в Западный Казахстан. Зимы там ранние и суровые. Нас поселили в хате на краю села. Снег заметал ее по печную трубу. Вечера у коптилки были длинными и тревожными. Ветер завывал в печной трубе на все лады, выдувая остатки тепла. Я вспоминал наше море, солнце, горячий песок, и мне хотелось плакать. По соседству жила наша землячка – большая, шумная, никогда не унывающая женщина. Она часто заходила к нам и рассказывала о последних новостях с фронта, а иногда о том, что ни по радио, ни в газетах не сообщали.

В тот вечер соседка долго молчала, а потом сказала:

– Теплоход «Ленин» затонул от прямого попадания бомбы, – и тихо заплакала.

Пальцы отца, скомкав самокрутку, впились в ладони и стали белыми, а мама истерически захохотала.

ДАВИД ЯНОВСКИЙ

Космический банк

Нам наша жизнь дана взаймы,
Дана как ссуда под проценты,
И наши добрые дела –
Как взносы – доллары и центы.

Плохой поступок – новый долг,
Вернуть с процентами придётся.
И долг растёт, растёт, растёт
Как снежный ком, что вниз несётся.

Мы долг в рассрочку отдаём,
И основные взносы – дети.
Чем лучше вырастим мы их,
Тем меньше будет долг по смете.

Но кончится аренды срок,
И душу отдадим мы Богу;
Её в компьютер он введёт
И на дисплей посмотрит строго.

Достанет вечное перо,
Подпишет счёт банкир предвечный...
Дай бог пуститься без долгов
Нам в путь последний, бесконечный.

В мае

Вдоль дороги – заросли сирени
И кусты неведомых пород,
А по ним без устали и лени
Гонит ветер волны взад-вперёд...
Вновь знакомый голос объявляет
Станции на чуждом языке...
Почему же сердце замирает,
Лишь каштан увижу вдалеке?

Я не знаю: это звёзды
К нам спускаются с небес
И цветами осыпают
Поле, сад и тёмный лес?

Сижу один у дымного костра
И по одной бросаю ветки в пламя.
Заворожённый пляской красных лилий,
Я этот танец вижу и не вижу,
Всё так размыто, так неуловимо...
Лениво мысли пляшут в такт огню,
И медленно в огне сгорает время.

Молитва

О ты, таинственная сила,
Что с места сдвинула светила
И некогда в счастливый час
Зачем-то сотворила нас!

Спаси нас от страстей ненужных,
Как всех калечных и недужных.
Избавь нас от страданий вечных,
Как всех недужных и калечных.

Прости нам слабости сомненья,
Заносчивость незнания судьбы,
Неблагодарность скорого забвенья
И подлости бессмысленной борьбы.

Мы ждём знаменья и ответа,
Мы в темноте, мы жаждем света!

Из Элиягу

Идёт Господь, и ветер небывалый
Сметает горы, разрушает скалы.
Но нет, не в ветре яростном Господь!

И после ветра вздрогнула земля,
Дома обрушились и треснули поля.
Но не в землетрясении Господь!

Потом всепоглощающий огонь
Весь мир оденет в красную фелонь.
Но не в огне пылающем Господь!

Вдруг стихнет всё. Не шелохнётся колос...
И прозвучит с небесной тишины
Входящий прямо в сердце голос,
Беззвучный голос тонкой тишины.

Вот в нём Господь!

Л. Бердичевскому

Всё это было иль приснилось:
Мы жили в Киеве с тобой,
Нам квас из бочки наливали,
Мы на Крещатик шли гурьбой...

Всё это так иль только мнится:
Теперь в Берлине мы живём,
И по Ку-Дамму мы гуляем,
И пиво пильзенское пьём.

Да нет, всё так, мой друг, всё верно.
На всё у жизни свой резон.
Так пей, гуляй по Божьей воле,
Пока не свалит вечный сон.

Дракончики и кончики

(пародия)

*Три головы у малютки дракончика,
А по спине до хвостатого кончика
Дружно бегут три полоски гребенчатых...*

Генриетта Ляховицкая

Сложная жизнь у малютки дракончика:
Три головы у малютки, три кончика...
Головы – это ещё ерунда,
Ну а вот кончики – просто беда.
С ними всегда в туалете заминки –
Трудно успеть расстегнуть три ширинки.
Строго ругает мама сынишку:
– Вечно ты ходишь в мокрых штанишках!
А папа-дракон своим сыном гордится:
– Вырастешь, «это» тебе пригодится!

ЭССЕИСТИКА

КАРЛ АБРАГАМ

О героях «Конармии» И. Э. Бабеля

Во время службы в Первой Конной армии Исаак Бабель вел дневниковые записи, которые затем легли в основу цикла из тридцати шести рассказов – книгу “Конармия”. Иной читатель может предположить, что она во всех деталях носит сугубо документальный характер. Такие читатели находились. Они, участники описываемых Бабелем событий, упрекали автора в недостаточной подлинности изображенного.

Однако в «Конармии», как и во всяком художественном произведении, правда переплетается с вымыслом. Герои подчас не привязаны ни к месту, ни к датам. Они носят скорее абстрактный характер, хотя и взяты с натуры (подобно тому, как сельский художник пан Аполек, герой одноименного рассказа, списывал лики святых со своих знакомых, чем и навлёк гнев служителей церкви). Нечто подобное произошло и с Бабелем: люди узнавали себя на страницах «Конармии», а так как не всегда были представлены в «выгодном» свете, – возмущались. К тому же описания героики поступков и стихийного революционного пафоса сочетались с колоритными бытовыми сценами, гуманность персонажей переплеталась с жестокостью.

Автора упрекали в натурализме, что по тем временам было серьезным обвинением.

А командарм* Первой Конной С. М. Будённый – тот в 1924 году в журнале «Октябрь» и четыре года спустя в газете «Правда» без обиняков заявил: книга написана в «пародийно-пасквильном» тоне, автор повторяет «бабьи сплетни», «небылицы», и вообще всё это – «клевета на Конармию».

На защиту «Конармии» выступил А. М. Горький. Его полемика с Буденным продолжалась несколько лет, оба остались при своем мнении. Но силы были неравными... В последующих изданиях Бабель был вынужден изменить некоторые фамилии. В неприкосновенности остались только С. С. Каменев, С. М. Будённый, К. Е. Ворошилов, Олеко Дундич, В. И. Книга и И. А. Колесников, а также белоказак Яковлев. Сам же Бабель и в первом издании – Лютов Кирилл Васильевич, но тут псевдоним вполне оправдан.

В 1939 году писатель был арестован, а в 1940 году погиб в какой-то из тюрем НКВД... Нет сомнений, что жёсткое неприятие книги С. М. Будённым сыграло не последнюю роль в трагической судьбе Бабеля. Его произведения и само имя оказались надолго под запретом.

Что же касается Будённого, то он стал маршалом, занял одну из высших государственных должностей и выпустил в середине 60-х годов мемуары «Пройденный путь». Там подробно, со ссылками на многочисленные архивные документы, описал роль Первой Конной армии в войне с Польшей – по его терминологии «с белополяками».

Сейчас уже не помню, как и почему взял я в руки книгу Буденного (военные мемуары к любимому мое-

* Военское звание в Гражданскую войну командующего армией. Командир корпуса звался комкор. дивизией – комдив (командир 2-й дивизии – “комдив два”), начальник штаба армии – начштаб, а кавалерийская дивизия была кавдивизией. – Прим. авт.

му чтению не относятся), но был поражен множеством прямых совпадений текста книги с тем, что читал в “Конармии”. Вот оно, свидетельство подлинности описанных Бабелем событий: ведь не стал бы маршал, пусть и глухо, опираться на “клеветническую” книгу!

И мелькнула мысль: город Ровно, в котором я был доцентом педагогического института, как раз лежит в том регионе, где происходили события рассказов Бабеля, – так не взять ли книгу и не пройти ли по местам былого? Да постараться восстановить зашифрованные Бабелем имена персонажей – ведь люди-то они реальные.

Свой “проект”, как принято сейчас говорить, я начал с рассказа «Комбриг два». Почему? В этом рассказе сразу шесть командиров.

Начало таково (все цитаты из Бабеля даю курсивом): *Буденный в красных штанах с серебряным лампасом стоял у дерева. Только что убили комбрига два. На его место командарм назначил Колесникова.*

Как фамилия убитого комбрига? О назначении Колесникова командиром бригады упоминается и в «Пройденном пути», но говорится, что сменил он 30 июля не комбрига два, а комбрига три, тяжело раненного И. П. Колесова.

А комбриг два Патоличев погиб в бою под Дубно 19 июля 1920 года – и лишь 11 дней спустя состоялось назначение Колесникова.

Я недоумевал: выходит, Бабель был неточен, когда писал, что Колесников сменил комбрига два? Потом подумал, что, может быть, существовал еще один Колесников, и именно он сменил Колесова?

Вот как описывает эпизод смены комбрига Бабель:

Час тому назад Колесников был командиром полка. Неделию тому назад Колесников был командиром эскадрона. Нового бригадного вызвали к Буденному. Командир ждал его, стоя у дерева. Колесников приехал с

Алмазовым, своим комиссаром.

– *Жмет нас гад, – сказал командарм с ослепительной своей усмешкой. – Победим или подохнем. Иначе – никак. Понял?*

– *Понял, – ответил Колесников, выпучив глаза.*

– *А побезишь – расстреляю, – сказал командарм.*

Буденный стремительно повернулся на каблуках и отдал честь новому комбригу. Тот растопырил у козырька пять красных юношеских пальцев, вспотел и ушел по распаханной меже.

Обратите внимание на такую деталь, как растопыренные пальцы нового комбрига, свидетельствующие, что до кадрового военного ему далеко.

Растопыренные пальцы есть и в книге Будённого, но не юношеские, а “узловатые”:

« – Немедленно ко мне комбрига третьей, – приказал я.

С места галопом сорвался один из ординарцев начдива, а через пять минут к нам, огибая кусты, торопливо шли два человека. Один – высоченного роста, широкоплечий, в серой кубанке и второй – много ниже, молодой, чуть прихрамывающий, с небольшими усиками на красивом загорелом лице.

– Вот этот высокий — Колесников, – показал Тимошенко. – Всего три дня назад командовал эскадронном. А теперь комбриг. И так во всей дивизии. Полками командуют вчерашние комэски и комвзводы, а взводами и даже эскадронами – рядовые бойцы.

Во втором из подходящих я узнал комиссара бригады П. К. Гришина (*у Бабеля это Алмазов. – К.А.*). Комбриг подошел, поправляя на ходу португепю. Шагах в трех от нас остановился, приложил к кубанке руку с растопыренными узловатыми пальцами и, глядя на меня сверху вниз, пробасил:

– Командир третьей бригады Иван Колесников.

– Видите неприятельскую пехоту?

– Вижу!

– Приказываю атаковать ее правый фланг, отрезать от леса и уничтожить. Не сделаете этого, считайте, что вы не комбриг. Задача ясна? – строго посмотрел я на Колесникова.

– Понятно. Значит, атаковать и уничтожить..»

Ясно, что речь идет об одном и том же реально существовавшем лице – комбриге три Иване Андреевиче Колесникове. Ясно также, что эпизод с пальцами “позаимствован”. Ведь деталь, так бросившаяся в глаза писателю (или придуманная им для колорита?) и занесенная им в свой дневник, даже если и привлекла тогда внимание Буденного, вряд ли сохранялась в его памяти сорок лет.

Рассказ Бабеля заканчивается так:

В тот вечер в посадке Колесникова я увидел властительное равнодушие хана и распознал выучку прославленного Книги, своевольного Павличенки, пленительного Савицкого.

Василий Иванович Книга родился в 1882 году (умер в 1961 году в звании генерал-майора). На Гражданской был комбригом один 6-ой кавдивизии Первой Конной, в Великую Отечественную командовал дивизией.

А Павличенко и Савицкий – самые любимые Бабелем персонажи, командиры шестой кавдивизии, в которой служил автор «Конармии».

Но это псевдонимы.

Константин Васильевич Савицкий – это будущий маршал Сергей Константинович Тимошенко, самый молодой начдив Первой Конной армии: во время описываемых событий ему едва исполнилось 25 лет. Имя Савицкого упоминается Бабелем в пяти рассказах. Лучше всего представлен он в рассказе «Мой первый гусь», где двумя-тремя мазками создан почти скульптурный портрет:

Савицкий, начдив шесть, встал, завидев меня, и я удивился красоте гигантского его тела. Он встал и пур-

пуром своих рейтуз, малиновой шапочкой, сбитой набок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло духами и приторной прохладой мыла. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты.

Савицкий за невыполнение распоряжений командования в боях под Бродами был смещен с должности и отправлен в резерв. Жил в Радзивиллове (ныне город Ровенской области), после почти трех недель безделья был прощён и получил должность начальника 4-ой кавдивизии. Любимец бойцов и командиров переносил свою отставку мужественно, с достоинством. Вот как рассказывается об этом в «Истории одной лошади»:

Лизуны из штабов не узнавали его больше. Облитый духами и похожий на Петра Великого (заметьте: не только ростом, но и такой деталью одежды, как ботфорты. – К. А.), он жил в опале, с казачкой Павлой, отбитой им у еврея-интенданта, и с двадцатью кровными лошадьми, которых мы считали его собственностью».

На претензии комэска Хлебникова вернуть отобранную у него в свое время лошадь Савицкий повернул к нему «помертвевшее лицо» и сказал: «Еще ноги мои ходят, еще кони мои скачут, ещё руки мои тебя достанут, и пушка моя греется около моего тела...»

Под именем Матвея Родионовича Павличенко изображен Иосиф Родионович Апанасенко. Сын батрака, он родился на Ставропольщине в 1890 году и стал одним из создателей Первой Конной. В 1941 году получил звание генерала армии, в мае 1943 года – назначение заместителем командующего Воронежским фронтом. В боях на Курской дуге 5 августа 1943 года был смертельно ранен. Похоронен в г. Белгороде.

Имя Павличенко появляется у Бабеля в 1923 году, в его первом рассказе из «Конармии»:

Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов.

Этот рассказ – «Письмо», герой которого, юный боец Вася Курдюков, участвовал в тяжёлом пятидесятидвухдневном переходе Первой Конной от Ростова до Умани, появился в газете «Известия одесского Губисполкома, Губкома КП(б)У и Губпрофсовета».

А подробно о комдиве повествуется в «Жизнеописании Павличенки, Матвея Родионыча». Вырос *красный генерал* в прикумских степях и с малых лет батрачил: пас свиней, а когда стал постарше – *рогатую скотину*. Люто ненавидел своего хозяина Никитинского, у которого был почему-то всегда в долгах («...а ярмо забыл, в прошлом годе ты мне ярмо от быков сломал...» – высчитывал Никитский). Вырос Матвей, женился. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, да наступила революция. *Именем революции* Павличенко расправился с хозяином: *...и тогда я потоптал баршина...*

В сравнении с Савицким Павличенко менее колоритен. Немногословен, строг, одевается аккуратно и не без щегольства:

Бурка начдива Павличенки веяла над штабом, как мрачный флаг. Пуховый баишлык его был перекинут через бурку, кривая сабля лежала сбоку. («Берестечко»).

Мы вступили в Берестечко 6 августа. Впереди нашей дивизии двигался азиатский бешмет и красный казакин нового начдива. («Афонька Бида»).

Еще с одним командиром знакомит нас Бабель в «Смерти Долгушова»:

«Завесы боя продвигались к городу. В полдень пролетел мимо нас Корочаев (опять псевдоним, на самом деле это Коротчаев. – К. А.) в черной бурке – опальный начдив четыре, сражающийся в одиночку и ищущий смерти. Он крикнул мне на бегу:

– Коммуникации наши прорваны, Радзивиллов и Броды в огне!...»

Но почему «опальный», да еще и «сражающийся в одиночку»?

Оказывается, в начале мая 1920 года Д. Д. Коротчаев, в прошлом донецкий шахтер, принял командование 4-й кавдивизией. Храбрый человек, он хорошо проявил себя в этой должности, но в середине июня в боях за Радомышль дивизия едва не попала в окружение. За эту оплошность Коротчаева понизили до комбрига. Но бригадой, куда его направили, фактически продолжал командовать прежний комбриг, назначенный командиром дивизии! Коротчаев оказался командиром без бойцов – *сражающийся в одиночку...* Лишь недели через две Коротчаев получил другое назначение – стал комбригом два, был тяжело ранен в бою подо Львовом и представлен к ордену Красного Знамени.

Необыкновенно интересен и кажется малоправдоподобным рассказ «Конкин» – о комиссаре, который после нескольких ранений, истекая кровью, вступил в единоборство с польским генералом и одолел его:

Крошили мы шляхту по-за Белой Церковью, – рассказывает Конкин, а потом с некоторой иронией описывает каждое свое ранение. Первое: *Я с утра отметину получил... юшка из меня помаленьку капает.* Второе: *Бросает тогда наш генерал поводья, примеряется ко мне и делает мне в ногу дырку.* И третье: *Подорвал он в сторону, потом еще разок обернулся и еще один сквозняк мне в фигуру сделал. Имею я, значит, при себе три отличия в делах против неприятеля.*

А дальше:

Каплет из меня все сильней, ужасный сон на меня нападает, сапоги мои полны крови.

Бабель пишет: *Эту историю рассказал нам однажды на привале Конкин, политический комиссар N-ской кавбригады и трехкратный кавалер ордена Красного Знамени.*

Но действительно ли фамилия – Конкин? Я был убежден, что Бабель не придумал ни этот случай, ни героя. И точно, в книге Буденного говорится именно об этом комиссаре, так что фамилия в рассказе не вымышленная: «А. Я. Пархоменко доносил, что его передовая 2-я бригада у Старосельцев, в 20 километрах юго-западнее Радомышля, атаковала батальон пехоты противника. Начдив особенно подчеркивал, что личный состав дивизии проявил высокий героизм. Отличились в бою командир 82-го полка Т. Т. Шапкин и комиссар 2-ой бригады Н. А. Конкин. Командир полка шел в атаку в пешей цепи, воодушевляя бойцов своим мужеством. Комиссар Конкин тоже все время был с бойцами. Трижды раненный в обе руки и ногу, он истекал кровью, но не оставил поля боя».

Бабель, правда, называет Конкина Василием, но это несущественно. Совпадают фамилия, должность, число ранений и место события (Старосельцы находятся от Белой Церкви на расстоянии 90 километров, что вполне укладывается в понятие «по-за Белой Церковью»).

Военкомдив (военный комиссар дивизии) фигурирует у Бабея трижды: «Костел в Новограде», «Берестечко» и «После боя».

«Костел в Новограде» повествует о том, что Бабель – штабной писарь совместно с военкомом описывает драгоценности, изъятые у служителей церкви. Фамилия военкома не указывается, но по времени, когда происходили эти события (Новоград-Волынский был занят Красной армией 27 июня 1920 г.), речь идет о Павле Васильевиче Бахтурове, состоявшего в этой должности до 5 августа. Тридцатилетний Бахтуров, по профессии учитель, в 1918 году вступил в Красную Армию. Он был политкомиссаром в нескольких кавдивизиях и погиб 31 октября 1920 года в бою с врангелевцами у села Агайман – сейчас это террито-

рия Ново-Троицкого района Херсонской области.

События двух других рассказов происходят уже после смены руководства дивизии. Фамилия нового военкома Винокуров, но он фигурирует как Виноградов. Никаких данных о Винокурове нет, инициалы не приводятся ни в одном энциклопедическом издании, Буденный упоминает лишь фамилию военкома.

Бабель пишет:

На столбах висели объявления о том, что военком-див Виноградов прочтет вечером доклад о Втором конгрессе Коминтерна («Берестечко»).

Начподив шесть Виноградов метался на взбесившемся скакуне и возвращал в бой бегущих казаков («После боя»).

Возвращать приходилось потому, что в боях за Замостье (ныне Замосць, Польша) Конармия потерпела поражение от польских сил.

В рассказе «Начальник конзапаса» появляется начальник штаба шестой кавдивизии Константин Карлович Жолнеркевич, бывший полковник царской армии, перешедший на сторону новой власти. Почему этого человека Бабель называет *начальник штаба Ж.*, остается непонятным, хотя описан он изящно: *Как всякий вышколенный и переутомившийся работник, он умеет в пустые минуты существования полностью прервать мозговую работу... Ж. следит со стороны за той мягкой толкотней в мозгу, которая предвещает чистоту и энергию мысли.*

А кто явился прообразом командира четвертого эскадрона Пашки Трунова («Эскадронный Трунов»), погибшего на станции Заводы и похороненного в общественном саду, посреди *готического Сокала*? В этом город на севере Львовской области я побывал летом 1987 года, но никаких памятников героям гражданской войны не обнаружил.

Бабель с протокольной точностью описал картину гибели Трунова и его товарища Андрея Восьмиле-

това:

Мы сидели в лесу и дожидались неравного боя между Пашкой Труновым и майором американской службы Реджинальдом Фаунт-Леро. Майор и его три бомбометчика выказали умение в этом бою. Они снизились на триста метров и расстреляли из пулеметов сначала Андриюшку, потом Трунова.

Фаунд Леро (правильно так) – личность не вымышленная. Он командовал эскадрильей тяжелых бомбардировщиков на польско-советском фронте и 13 июля попал в плен, как об этом пишет Будённый: «Бойцы 2-ой бригады 6-ой дивизии сбили четыре аэроплана и захватили в плен летчика американца Фаунда Леро».

Согласно Бабелю, эскадронный Трунов погиб во второй половине августа. В таком случае, налет на станцию Заводы был совершен другим летчиком, а фамилия Фаунда Леро хорошо запомнилась Бабелю. Но, в конце концов, разве это важно? Важно другое: был в Первой Конной человек по фамилии Трунов: командир 31-го Белореченского полка 6-ой кавдивизии, бывший вахмистр царской армии, полный георгиевский кавалер. Константин Архипович Трунов пал под Бродами 3 августа 1920 года. Думаю, что Бабель назвал его Пашкой из чисто литературных, художественных соображений: от уменьшительного Костя выглядит неуклюже простонародное Костыка, а Пашка и благозвучнее, и еще более простонародно. А может, Бабель просто не запомнил настоящую фамилию комэска, погибшего в сражении под Сокалем, и нарек его именем К. А. Трунова – по характеристике Будённого, «бесстрашного ставропольского богатыря, человека негнибаемого мужества».

И, наконец, есаул Яковлев («Вдова», «После боя»). Это реально существовавшее лицо. Он сражался на стороне поляков. О нем можно бы и не упоминать, но хочется уточнить одну деталь в рассказе «После боя».

У Бабеля написано:

Тридцать первого числа случилась атака при Чесниках. Эскадроны скопились в лесу возле деревни и в шестом часу вечера кинулись на неприятеля. Мы проскакали три версты и увидели мертвенную стену из черных мундиров и бледных лиц. Это были казаки, изменившие нам в начале польских боев и сведенные в бригаду есаулом Яковлевым. Построив всадников в каре, есаул ждал нас с шашкой наголо.

Но к тому времени Яковлева уже не было в живых. Будённый сообщает, что кавалеристы Яковлева были атакованы 2-ой бригадой 4-ой дивизии 27 августа в районе польского местечка Тышевец: «В коротком бою более 200 казаков было порублено и около 100 – взято в плен. Пленники сообщили, что есаул Яковлев застрелился». Значит, в сражении при Чесниках, четырьмя днями позднее, бригада Яковлева участвовать уже не могла.

Названия большинства населенных пунктов Бабель оставил без изменений, и лишь некоторые полезно уточнить.

Так, в рассказах «Пришепа» и «Афонька Бида» говорится о селе Лешнев. Оно расположено в Бродовском районе Львовской области. Польское название нынешнего Радехова – города во Львовской области – Радзихов упоминается в рассказе «У святого Валента».

В рассказе «Мой первый гусь» Иван Чесноков получает приказ *выступить с вверенным ему полком в направлении Чугунов – Добрыводка*. Населенного пункта Чугунов я не нашел, а вот Добрыводка (правильно: Добривода) есть. Это село находится на территории Радзивилловского района Ровенской области.

Труднее всего было разыскать село Будятичи, которое фигурирует в трех рассказах («Песня», «Армак» и «Поцелуй»). Надо полагать, что это старое польское название Батятичей – села Каменка Бугско-

го района Львовской области. Догадка пришла по прочтении романтического «Поцелуя», который заканчивается так: *В это утро наша бригада прошла государственную границу Царства Польского.* Граница проходила по западному берегу реки Буг, от которой до Батятичей около семи километров. В рассказе «Берестечко» есть такой эпизод: *Мы проехали казачьи курганы и вышку Богдана Хмельницкого. Из-за могильного камня выполз дед с бандурой и детским голосом спел про былую казачью славу. Мы прослушали песню молча, потом развернули штандарты и под звуки гремящего марша ворвались в Берестечко.* Сегодня казачьи курганы стали филиалом Ровенского краеведческого музея («Казачьи могилы»), который находится на восточной окраине села Пляшева Червоноармейского района.

И лишь в «Переходе через Збруч», автор почему-то (думаю, искренне заблуждался) допускает целых две неточности:

Начдив шесть донёс о том, что Новоград-Волыньск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивно, и наш обоз шумливым иррегулярдом растянулся по шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построеному на мужицких костях Николаем Первым.

Так вот, штаб дивизии двигался не по шоссе Брест – Варшава, а по другой дороге, Житомир – Новоград-Волынский. А город Новоград-Волынский стоит не на Збруче, а на левом берегу реки Случь (в рассказе «Солнце Италии» эта неточность повторяется: *Внизу, у обрыва, бесшумный Збруч катил стеклянную тёмную воду*).

Топонимику «Конармии» можно считать в остальном безупречной. Она придает книге очень большую достоверность. Бабель водит читателя по улицам и переулкам, площадям и околицам Белой Церкви и Фастова (Киевской области), Житомира, Бердичева, Крапивно и Новоград-Волынского (Житомирс-

кой области), Ровно, Белёва, Дубно, Вербы, Козина, Добриводы, Хотина (Ровенской области), Берестечка (Волынской области), Клекотова, Бродов, Лешнева, Радехова, Буска и Сокаля (Львовской области), Чесников, Ситанца и Замостья (Польша). Такова география рассказов Бабея. Она в точности повторяет путь Первой Конной армии.

Когда летом 1987 года я проехал по местам событий «Конармии», встретить свидетелей тех дней мне не пришлось. Столько времени пролетело, да и война прокатилась дважды... Города и сёла, по сути, построены новые, иные.

Но спокойная красота лесостепи, слегка пересеченной небольшими холмами, озабоченные аисты, лениво перелетающие с места на место, старинные кладбища с перекошенными крестами на могилах да заброшенные костелы – всё выглядело так, как в далекое лето тысяча девятьсот двадцатого...

Г ЕНРИЕТТА Л ЯХОВИЦКАЯ

Опыт прочтения трёх мандельштамовских восьмистиший

Поэтическая мысль порой прикипает к некоей теме и какое-то время неизменно обращается к ней. Так и художники иногда создают картины сериями.

Если почитать «Восьмистишия» Осипа Мандельштама, то можно понять, что в ноябре 1933 года предметом размышлений поэта были коренные формо-пространственно-временные отношения и их осмысление:

*Люблю появление ткани,
Когда после двух или трёх,
А то четырёх задыханий
Придёт выпрямительный вздох.
И дугами парусных гонок
Открытые формы чертя,
Играет пространство спросонок -
Не знавшее люльки дитя.*

Штиль, сон пространства, первые неровные «задыхания», и наконец – полный вздох (астматики знают бесценность такого, выпрямляющего лёгкие, вдоха). Наполненный подвижным ветропространством парус обретает трёхмерность очерченной совершенными дугами формы и напитывается силой, перемещаю-

щей весь парусник и саму открытую со стороны ветра форму в четырёхмерном пространстве-времени. Пространство-дитя, проснувшись, играет формами парусов, без чего наблюдатель не смог бы осознать присутствия и вездесущности этого ребёнка, никогда не знавшего люльки в силу своей первозданности.

В том же ноябре написано и это восьмистишие:

*В игольчатых чумных бокалах
Мы пьём наваждение причин,
Касаемся крючьями малых,
Как лёгкая смерть, величин.
И там, где сцетились бирюльки,
Ребёнок молчанье хранит:
Большая вселенная в люлке
У маленькой вечности спит.*

Причина – это явление, которое вызывает другое явление. Но причинные связи запутаны в сцеплении явлений. Необъяснимым, как в наваждении, образом следствие может вдруг обернуться причиной. Распутать клубок спутанных нитей помогает нечто цепкое - крючок. Мы касаемся крючьями придуманных человеческого разумом величин клубка запутанных причинных связей, подобно тому, как играют в бирюльки, вроде бы занимаясь пустяками. На самом же деле – это кропотливая и щепетильная игра для многотерпеливых - из кучи сцепившихся деревянных фигурок-бирюлек надо доставать крючком одну за другой так, чтобы не пошевелить остальных. На это уходит иногда целая «маленькая вечность». Но вытащив хотя бы одну из бирюлек, установив хотя бы одну истинную причинную связь, мы получаем в награду упоительный миг познания крохотной частицы огромной вселенной. И это несмотря на то, что пространство-ребёнок из первого восьмистишия хранит упорное молчание, возможно от обиды, что вселенная имеет люльку, которой у пространства никогда не было.

Если же быть серьёзнее, то можно уловить специально и мастерски вплетённую в четыре первые строки взаимосвязанность. Тот, кто пьёт из кубка «пира

во время чумы», рискует испить смерть. Кто мог уловить эту причинную связь в чумном средневековье? Знаем ли мы сегодня, какую «чуму» пьём на нынешнем пиру? Дав определение бокалам - «чумные», поэт не говорит впрямую о смерти, но вводит это слово в сравнение, выбранное им для малых величин. Общая взаимосвязанность читается в восьми строках, скреплённых, припечатанных звучным «ч» во многих словах: игольчатых, чумных, причин, крючьями, величин, молчанье, вечности. Но для меня более важно появление в тексте понятия «величина», которое обретает особое значение в следующем, созданном всё в том же ноябре, восьмистишии:

*И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин,
И мнимое рву постоянство
И самосознание причин.
И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей, -
Безлиственный, дикий лечебник,
Задачник огромных корней.*

Здесь нет ничего особенного в рифмах, отчасти повторяющих рифмы из предыдущего стихотворения, отчасти самонапрашивающихся, отчасти – не слишком точных. Печатка чёткого «ч» вновь использована во многих словах. Это звонкое припечатывание и мне приходило в голову, совершенно независимо от Мандельштама, когда ещё не довелось прочесть эти его восьмистишия. Есть у меня строчки: «...Запретный плод лишь мёртвых не влечёт, и змей чешуйчатым ручьём течёт».

Короче, выразительные средства этого восьмистишия не поражают меня. Но глубина, но переплетённость смыслов, но литая точность формулировок - вот где гениальность!

Тема продолжена. Познание через величины – через измерение, исчисление. Прикладывая одномерную линейку с условленными делениями, пытаемся определить значимость трёхмерного пространствен-

ного объёма. Полная неразбериха, запутанность. Всё и везде относительно. Одна и та же величина – малая для одного явления и огромная для другого. Нечто так велико, что сравнимо с самой Землёй, но Земля – пылинка в безмерности Космоса. Знает ли сама себя причина в непрерывно изменяющемся бытии? Есть ли что-либо не мнимо постоянное? Неизменны ли причинно-следственные связи? Нет, нет и нет! И каждый раз надо заново учиться, снова листать учебник бесконечности.

Размышлять о пределах беспредельного, определяться в первоосновах можно только самому. Установить для себя, для «здесь и сейчас» основное, коренное – значит излечиться от страданий неопределённости, от мыслей о никчемности своего существования. Но если обычный лечебник написан на листьях и в его рецепты включены листья растений, то «дикий лечебник» бесконечности – непрестанно разворачивающийся свиток без подробностей. Не имеет листьев и сад величин – сухих абстракций.

Однако познаваемые и осмысляемые при чтении такого учебника категории, ответы, получаемые при решении предлагаемых там задач – это те «огромные корни», которые есть основа всего сущего.

Не знаю, удалось ли мне сколько-нибудь внятно описать своё понимание великих стихов, но вижу, как много слов понадобилось для этой попытки. Видимо, одно из назначений поэзии – давать формулировки, сжатые и точные, как в математике, но при этом обязательно очеловеченные, одухотворённые. Недаром когда-то научные трактаты излагались в стихотворной форме.

*7 июля 2000 г.
Берлин.*

МАРЛЕН ГЛИНКИН

Маленькие эссе, или мысли вслух*

*«Человек – это лишь полчеловека,
вторая половина – его самовыражение».*

Ральф Уолс Эмерсон

1.

Почему каждое поколение считает будущее чуть ли не бесконечным, почему это представляет трассирующую праздничную линию сквозь пространство и время, которую чертит пылкий и вспыльчивый, горячий и горячливый мелок из суммы их интеллектов?

Почему еще ни разу, наверное, за всю историю всех цивилизаций никому не удалось убедить юных, что молодость – бабочка скоропроходящая.

С годами понимаешь с виду всем известную истину: каждый человек – это типаж, это всего лишь одна

** Авторская мысль – это всегда мысли персонажей, живущих в его произведениях. Автор рассказывает о том, что видел своими глазами, или о том, что ему рассказывали. Во всяком случае, то, что он пишет, всегда на чем-то основано. Некоторые рассуждения героев маленькой повести «Графиня», как мне кажется, имеют право на самостоятельное существование вне зависимости от сюжетной линии – в форме маленьких эссе. – М.Г.*

черта характера, один вертел, на который нанизывается все остальное, все вспомогательное, нужное для заполнения терпимых природой пустот в личности, а еще – нужное для камуфляжа, для сокрытия явного личностного стержня, удалив который, разрушишь все...

Все мы – куклы, и все мы – кукловоды. Мы водим друг друга, вызывая поступки и действия. Друг друга вынуждаем, когда нужно, поднимать руку или опускать ногу, хохотать или плакать, спать с кем-то или бродить всю мокрую, холодную ночь под окнами того, кто вырвал из чьих-то рук нервные веревочки и теперь отдал их другому, чтобы тот дергал по-новому, по-иному, чтобы трогалась с места фигура, склонялось тело, открывался рот и вибрировал таз, а слова проносились другим озвучивающим – и говорим-то мы чьим-то голосом, с чьим-то акцентом, чьи-то словечки, присваивая интонации, и жесты, и все прочее...

2.

В компанейских застольях накапливаются биоэлектрические единицы, достигая критической массы, взаимопроникаясь и взаимоотталкиваясь. Человеческие особи обоего пола подзаряжаются, как аккумуляторы, от общения друг с другом – и неважно с кем, и неважно – плюс или минус в эмоциях, и неважно вообще все, кроме самого этого факта диффузий характеров, жизней, сил. Сами того не понимая, сведенные к одному застолью люди вместе со своим запахом и дыханием посылают окружающим точки и углы своего зрения, гремучие смеси, готовые случайно схлестнуться...

Кто-то пьяной издевкой оказывает помощь ближнему, играя неожиданную роль медицинской пьявки, а иной – ревеневой притворностью витаминизирует вдруг какого-нибудь изверившегося милого человека, уже вечность и не ожидавшего даже намека на похва-

лу.

Скучающие доводят скуку до состояния переня дутого первомайского шарика, который все равно лопается в сутолочном скоплении проволочных стеблей, среди толчков и натъканий друг на друга, на здания, углы, ветки.

И потом – всегда есть веселые, начиненные анекдотами и дежурными остротами, преобладающие в шуме и гаме, но затихающие к определенному моменту – наверное, когда все уравнивается, все уравнивается, когда наступает состояние, при котором прежний скучный становится равным прежнему веселому.

В этом и состоит основной закон застолий.

3.

Бывает иногда у нас, мужчин, словечко из мужского обихода неосознанно проскальзывает и ранит...

Но какое слово? Обыкновенный, вроде бы, разговор, обыкновенная размолвка. Кажется... да нет - наверняка, ничего соленого. Просто, может, слишком сурово, невыдержанно. Все таки - эти бабы...

С их тонкостями, которые на каждом шагу, рвутся. Все время бди, настораживайся. Напрягайся. Следди за собой. А то, не дай бог, неуклюже повернешься и заденешь... душу. Нежную и так ценящую, что тебе раскрылась, как же!

А ты наплевал, мол, негодяй. Поступил, как последняя скотина. Тебе доверились, а ты... А может, это серьезно? Может, это первый звонок еще не опознанного желания разъединиться? Уйти, потому что общение уже неполноценное, уже появились застарелые зияния и гибнет близость?!

Попробуй узнай... Она знает. Она решила считать что-то обидным. Но – не скажет сама до поры. Или вообще никогда. Таковы правила игры. Кто способен их определить, когда он начинает отказываться от нее?

Отвергает, еще обнимая. Отталкивает, прижимаясь.
Уходит, входя...

4.

Человеческое слово, очевидно, держит нас на свете. Слышать его хочется, пока есть силы. Слышать и размышлять над ним, и спорить с кем-нибудь о значении какой-то согласной или гласной, какого-то слога. Улавливать смысл, веря почему-то в то, что он существует и различим. Уверять себя в лучшую минуту, что и сам способен влиять на смысл, на слово, особенно если для тебя оно только начало звучать и щемит, и жжет его лепечущее предзнаменование - мне порой верится в явственность нашей памяти от рождения, верится в утробные впечатления, ничуть не смущаясь размерами зародыша, продолжается в нем... Бездна рождает бездну...

5.

Плохо беречь здоровье, занимаясь только этим. Это портит здоровье. Его нужно расходовать, чтобы прибавить. Потому-то среди старых, вымирающих уже интеллигентов столько долгожителей.

И в древности великий медик и ученый Гиппократ прожил восемьдесят три года, а ведь вкалывал без передыху, судя по всему...

6.

В последние годы жизни думаю об идолах. Внешних и сокровенных, то есть, как бы мирских и религиозных, настоящих.

Идолов в прямом смысле, подлинных, помещают искони в укромных местах.

Алтари тяготеют к потемкам. Вставные драгоценности – зрачки Будды блестят в полутьме.

У человека и человеческая тьма - неосознанность, необъяснимость, отсутствие сведений о законах при-

роды, об отношениях между живыми и мертвыми.

У человека темно в примитивном начале жизни, когда он просит маму объяснить, почему люди рождаются и умирают. И в самом темном закоулке детства есть идол Спасения и Нежности. Потом – его калечат...

7.

Нужно запоминать моменты, когда жизнь радуется, заполняет тебя до последней клетки острым счастливым чувством.

Потом, когда настанет темная полоса, это может выручить, помочь, даже спасти...

В юности таких мгновений много. С годами их все меньше, а потому ими нужно дорожить и заботливо воскрешать.

Они могут возродить... Кажется, если б этих мгновений не существовало, жизнь человечества укоротилась бы. Мгновение зачихло бы и навсегда исчезло, ведь каждый такой миг бросается в копилку жизни, умножая во всемирном биополе количество положительного...

8.

Могу подтвердить, пережив клиническую смерть, высказывания большинства тех, кто уже умирал однажды: была черная труба, смахивающая на аэродинамическую. Внутри нее – что-то вроде Вознесения.

Много покоя и легкости. Вылетаешь в яркий свет. Родственники, умершие когда-то, встречаются.

Такое, правда, не у всех. Бывает и без этого.

У многих даже ангелочки возле порхают, об этом журналисты писали и Шарль Азнавур после того, как его «убило» автомобилем.

Один знакомый психолог сказал, что традиция таких положительных характеристик большинства «покойников» связана с мистикой и убеждением в су-

ществовании души или той незримой части индивидуума, которая оказывается частью мировой души, вселенского духа, а потому приобретает вдруг такое могущество...

9.

Вспомнил как-то случайно услышанную испанскую поговорку: «Берегите человека, который молчит, а собаку, которая лает».

Как это правильно! Но как редко в жизни.

10.

Иногда мне кажется, как хорошо глубоким старикам, у которых все отболело и вошло в фазу спокойного разрушения.

Долгого и уважительного. С местами в транспорте. Без торопливых утр и проблемных вечеров. Им в чем-то легче, несмотря на болячки и приближение последней крупной неприятности...

Хотя Эйнштейн говорил, что Это – «даже приятно»...

11.

Человек, как мне кажется, по-видимому, создан, чтобы мыслить. В этом его достоинство, его заслуга, его обязанность; в том, чтобы мыслить, как должно...

А о чем думают люди?.. О том, как бы потанцевать, поиграть, попеть, заработать побольше, обмануть ближнего своего и т. д. .. Как бы построить дом, дворец, стать королем...

Все достоинства человека в его мысли.

Блез Паскаль говорил: «Но что такое мысль? Как она глупа!»

Победная годовщина

Давно отгремели салюты в честь Победы. Как изменился мир, как изменилась жизнь миллионов людей за более чем полувековой срок?

Даже в самом фантастическом сне было трудно представить, что в конце XX века многим из нас доведется жить в Берлине. Гулять по его утопающим в зелени улицам и паркам, стоять на исторических ступенях рейхстага, подниматься с толпами туристов в его хрустальный купол, дабы разглядеть с высоты панораму возрожденной столицы Германии.

Что же произошло в мире, если сегодня Германия принимает десятки тысяч людей, более полувека назад подлежавших тотальному уничтожению?

«И помнит мир спасенный...» – эти слова воскрешают память и будоражат мысль.

Кто из нас не помнит страшные годы Второй мировой войны, десятки миллионов жизней, положенных на алтарь Отечества? Противоборство двух родственных тоталитарных систем, коммунистической Сталина и фашистской Гитлера дорого обошлись человечеству.

С тех пор прошло пятьдесят пять лет – большой срок. А война предполагает немедленный триумф, затем – забвение. Победителям и побежденным надо продолжать жить бок о бок, напоминания о войне не способствует добрососедским отношениям.

Побежденная Германия – сегодня одна из крупнейших в мире экономических держав – в очередной раз празднует свое поражение.

Следующая после нее экономическая держава, Франция, празднует победу в своей партизанской войне, победу в упорном сопротивлении и гитлеровским оккупантам, и собственным предателям-пэтэновцам.

Празднует победу Англия.

И празднует великую победу плетущаяся далеко позади всех Россия.

Неизвестно, празднует ли свое поражение Япония – вторая после США экономическая держава в мире. Японцы – великий народ! Только подумать: две атомные бомбы на них кинули, острова отняли, а они сумели выжить, подняться и стать самыми передовыми на планете. Поэтому Япония могла бы праздновать и поражение и победу, не было бы счастья, да несчастье помогло...

Так неужели все они – победители и побежденные – празднуют одно и то же событие в равной степени?

Вопрос не праздный, а ответ... Некоторые западные историки утверждают, что ни первой, ни второй мировых войн вообще не было. А была одна 75-летняя война, которая началась в августе 1914-го и с перерывами продолжалась, то холодная, то горячая, до ноября 1998-го, до падения Берлинской стены. Во всяком случае, формально она закончилась.

По-видимому, ее-то окончание мир и празднует. Опасаясь при этом, что никакой это не конец, а лишь очередное перемирие, связанное с распадом Советского Союза и экономической слабостью России. И что главная схватка впереди...

Семьдесят пять лет, а конца не видно. Так кто же с кем и почему воевал все эти 75 лет?

К началу Первой мировой войны начался распад многих одряхлевших империй. Война только ускорила этот процесс. Распад империй – дело, чреватое тяжкими последствиями для всего мира. И если считать, что главным аспектом любой империи является национализм, то при ее распаде он проявляется особенно сильно. И тогда возникает вопрос: национализм – это хорошо или плохо?

С одной стороны, вроде бы хорошо: все мы за свободу и права наций. Но в этом процессе нации заливают мир таким количеством крови, сколько никогда

бы не пролилось, сиди они за общим планетарным столом и прислушиваясь к коллективному разуму, решающему наверняка, как приструнить и удержать всех за одним столом. Кроме того, все эти нации так перепутались и застряли друг в друге, что национальные государства, не успевая появиться, тут же становятся многонациональными. А вслед за этим начинается пальба.

Вот мы и имеем Балканы со дня развала Австро-Венгрии по сей день, и судетских немцев, и немецких поляков, Эльзас и Лотарингию, Нагорный Карабах, Чечню... И еще, и еще, и несть им числа.

В нашем доживающем XX веке мы еще раз убедились в том, что не было и не может быть единого смысла понятий для людей и государств. Любое понятие – абстракция, и только люди наполняют эту абстракцию содержанием. Поскольку в этом случае не может быть всеобъемлющей индивидуальной правды, возникает необходимость договоренности. Если мы договариваемся, что национализм – это хорошо, то войны за национальное самоопределение справедливы.

А если еще договоримся, что империя – это хорошо, то национальное самоопределение следует подавлять на корню. Пока еще в зародыше.

Но в середине XIX века возникла идея классовой, наднациональной справедливости и объявила войну всякой несправедливости, – несправедливости с ее точки зрения. Страна Советов и большевики залили кровью одну шестую земного шара и могли бы залить больше, но их, слава Богу, остановили.

Большевистской теории мировой революции и сталинским планам «справедливой агрессии» не суждено было осуществиться. Мир сопротивлялся, как мог. Противопоставил коммунистической «справедливости» демократическую справедливость. Наступило время холодной войны...

Впрочем, какой там холодной: восвали на обочи-

нах – в Азии, Африке, Южной Америке, и очень погорячему... Та и другая сторона посылала своих «советников», потом просто строевых солдат, вооружала «народно-освободительные» и антикоммунистические движения – пыталась таскать чужими руками из огня каштаны. Только вот на Кубе почти столкнулись лбами впрямую, да Бог уберег: просветил мужицкий ум Хрущева, поддержал спокойную уверенность Кеннеди...

Мир в мире покоился на страхе – страхе перед БОМБОЙ, размножившейся в таком масштабе, что способна оказалась стереть с лица Вселенной не то семьдесят пять, не то девяносто пять раз всю планету до единой былинки.

Сегодня бомб меньше, уничтожить планету можно только пятнадцать раз...

И еще изменение: сегодня не только Америка и страны Европы, но и Россия хотят праздновать победу демократической справедливости. В этой ситуации получается, что и Германия по праву может участвовать в празднествах, однако Россия – пока еще только в качестве кандидата, проходящего испытательный срок. Кандидата, умоляющего кредиторов об отсрочке платежей по долгам и о новых валютных вливаниях в упавшую экономику, одновременно продолжая рассуждать о своем величии и пышно обставляя военные парады..

Какая же складывается картина, если посмотреть на участников 75-летней войны, – хотя бы основных?

Англия была в числе победителей в Первой схватке, во Второй и Третьей – холодной. За это время потеряла значительную часть своего величия, превратилась из самой мощной империи, владычицы морей, в маленькое, хотя и неплохо экономически развитое государство.

Еще один победитель – Франция. Правда, во Второй схватке была частично побеждена, но в Холод-

ной числится среди победителей, хотя именно в этот период потеряла, изрядно повоевав, свои колонии в Африке и Азии.

Германия проиграла две первые схватки, победила в третьей.

Сегодня это крупная экономическая держава мира. Страна передовых технологий и развитой промышленности, высокого уровня жизни и социальной защиты населения. Одна из самых активных сторонниц Европейского содружества. Единственная страна, в благоразумии которой перед лицом всего мира усомниться трудно. Исторический опыт уходящего века убедил Германию в том, что идея толерантности окупается.

Вот первый итог 75-летней войны: мир уже не устанавливают принудительно, о нем не договаривается, его покупают. Но парадокс в том, что побежденная Германия смогла возродиться как демократия только благодаря помощи одного из победителей – Соединенных Штатов. А когда победители платят побежденным, враги переходят в разряд клиентов.

Таким образом мы и подошли к Америке – победителю во всех трех этапах 75-летней войны. Основному, главному, единственному победителю. Победителю среди всех – Англии, Франции, Германии, России.

Как это произошло? В первую очередь благодаря демократии. Во вторую – благодаря технологии. В третью – благодаря экономической и культурной экспансии. И сегодня всем ясно, что не нужно доказывать свою правоту, что вообще нет такого понятия – абстрактная ПРАВОТА, а есть вполне конкретные ИНТЕРЕСЫ. Что главное – постараться подключиться, пробиться к интересам Америки. На том единственном основании, что американская доктрина всепобеждающая.

И действительно, в результате войн и побед мно-

гие государства остались «без штанов», а Россия даже «без галстуков». Но только не США, на территории которой не было никаких войн со времен гражданской.

Поэтому если учесть, что американская демократия и технология – от атомной бомбы до компьютера – обеспечили США мировую гегемонию, что созданный Америкой мир вдруг оказался абсолютным чемпионом в 75-летней схватке, – все празднества стоило бы перенести на площадь перед Белым домом.

В нынешнем мире у стран все меньше и меньше стремления враждовать, все больше и больше желания мирным путем защищать свои интересы.

Америка всегда отставала и продолжает отставать общедемократические и свои экономические интересы в мире. Как ни покажется странным и парадоксальным, но, возможно, что именно борьба за эти интересы и за права человека в Европе и мире привели США вместе с другими членами НАТО к бомбежке Югославии. В том числе ракетами и снарядами с «безопасными» урановыми сердечниками...

Планета XXI века перед нами.

Кто будет на ней победителем, а кто – побежденным, когда век кончится?

И вообще: потребуется ли на пороге следующего века отвечать на этот вопрос?

Парнасские встречи

Как-то в октябре не помню какого года редактор литературно-художественного журнала «Осколки» пригласил меня в свой кабинет.

– Дорогой, принимая во внимание ваш почтенный возраст и образование, мы решили дать вам ответственное задание. Немедленно отправляйтесь на Парнас. Да, да, именно, на эту самую гору. Постарайтесь встретиться там с русскими классиками и возьмите у них интервью на тему об Октябрьской революции.

При зарождающемся в России демократическом строе даже за очень большие деньги было трудно достать билет в потусторонний мир. Прошли времена, когда их раздавали совершенно бесплатно и с такой настойчивостью, что отказаться было невозможно.

Поэтому я сказал редактору только одно слово:

– Аванс!

Он деньги выдал и пожелал удачи.

На Парнасе толпами ходили классики. И русские, и украинские, и французские и прочие. Увидев Пушкина, я заинтересовался:

– Александр Сергеевич! Соответствовала ли вашим прогрессивным взглядам Октябрьская революция?

Великий поэт ответил не задумываясь:

– Буря мглою небо кроет
Не один кровавый год.
Стонет, плачет, волком воет
Бедный русский мой народ...

Пока звучали классические строки, я увидел не-вдалеке Лермонтова:

– Михаил Юрьевич! Что скажете об Октябрьском перевороте?

– Что? Да вы сами знаете: “И скучно, и грустно, и некому руку подать...”

– Як нема кому подати?! – сказав Шевченко, протискиваючись крізь толпу: – А західному брату руку простягли ще в 39-му році.

– Так, руку простягли, а ноги він сам простяг, – заметил Котляревский.

Я испугался, что начнется спор не только о прошлом, но о настоящем: Крым, Черноморский флот... Захотелось сказать что-нибудь успокоительное, но меня предупредил автор «Горя от ума»:

– Вон из Москвы! Сюда я больше не езду!
Беги, не оглянись, пойду искать с Парнаса,
Где оскорбленному есть чувству уголок...
Пегаса мне, Пегаса!...

Антимосковская реплика Грибоедова сразу внесла успокоение в среду украинских писателей.

Увидев знакомую острую бородку певца народной скорби, я спросил:

– Николай Алексеевич! Ваше мнение нам особенно драгоценно!..

Некрасов протяжно сказал:

– Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель наш и хранитель,
Где б российский мужик не стонал...

– Вот-вот, совершенно верно, – поддержал его Алексей Константинович Толстой:

– По Марксу, Ильичу ли,
По Сталину ли жить, –
Всегда ты можешь пулю
В затылок получить.

– А что вы думаете о коммунизме, Михаил Евграфович? – поинтересовался я у Салтыкова-Щедрина.

– Ужасно подумать, – ответил мрачно сатирик, – что возможны общества, возможны времена, в которых только проповедь надругательства над человечес-

ким образом пользуется правом гражданственности...

– Да, действительно, ужасно жил народ после перелома, – заметил, подходя, Тютчев. – Просто именно так, как я написал совсем по иному поводу:

– Молчи, скрывайся и таи
Все чувства и мечты свои,
А если скажешь что-нибудь –
На Колыму покажут путь.

Мимо прошел задумчиво Гоголь. Я не мог упустить редкого случая:

– А что вы скажите о России, Николай Васильевич?

– О России? О ней я уже всё сказал в моей «Тройке». А что до Октября, то у моего Акакия Акакиевича, по крайности, хоть шинель была, а теперешнего и раздели, и в Устьпечлаг уpekли. Тут никакой «Ревизор» не поможет.

Пододошедший к нам Чехов протер пенсне и сказал своим мягким приятным баском:

– Насколько могу судить, людей в футлярах в коммунистическом царстве гораздо больше, чем было при мне в России. Да и футляры-то скверного качества, советские...

Появился пришедший с охоты Тургенев:

– Скажу кратко: наши Рудины уже были «Накануне» и мечтали, что, наконец, взойдет «Новь», а получился один «Дым», в котором сгорели не только дворянские, но и крестьянские гнезда...

– Просто все свалились с «Обрыва», – подхватил Гончаров.

– Но, зная русский народ, зная в нем Калинычей и Касьяновых, – добавил Тургенев, – я верю, что скоро у нас зашумят «Вешние воды».

– Вот тогда русский народ и скажет правителям: «Не в свои сани не садись», – поддержал его Александр Николаевич Островский.

– Именно! – воскликнул дедушка Крылов, – и во-

обще, «как не садитесь – все в музыканты не годитесь!»

– «Идиоты» и «Бесы» будут преданы анафеме, а за преступлением последует наказание, – резко вставил Федор Михайлович Достоевский.

– Вот тогда и наступит «Воскресение»,– наставительно произнес Лев Николаевич Толстой.

* * *

На душе стало спокойно. Кассики всегда помогали в борьбе с «красными демонами». Помогут и сейчас.

СЕМЁН ПАНЧЕШНИКОВ

Баллада о ржавой пружине

«Люди, будьте бдительны!»

Юлиус Фучик

Вам когда-нибудь приходилось открывать дверь на ржавой пружине? Если приходилось, то Вы наверняка помните эту адскую какофонию звуков, с визгливой истеричностью дизезов, грубым уханьем бемолей, и хаотически -сумасшедшим хороводом взбесившихся нот, превращающийся в ужасающий скрежет, который проникает в Вас, режет Вашу душу на части и вызывает в Ваших мыслях только одно желание тишины, которая успокоит и умиротворит вдруг встревоженную Вашу душу.

Но попробуйте отойти от этой ржавой железки, и Вы с удивлением услышите, что этот мрачный скрежет, по мере Вашего отдаления, постепенно превращается в стройные, полные гармонии звуки. Сначала исчезнет истеричность дизезов, затем мягко, с каким-то тёплым ворчанием прозвучат бемоли, - и весь нотный стан, как бы одумавшись, зажурчит по всем правилам музыкального искусства.

И поверьте, что Вы вскоре забудете, с каким усилием открывали дверь, преодолевая сопротивление

ржавой старухи, которая всем своим трухлявым организмом сопротивлялась Вам, боясь, что свежий, свободный ветер, ворвавшись вместе с вами, сметёт вместе с плесневатой затхлостью и её, эту ржавую, давно отслужившую и мешающую жить пружину.

Так и у нас в жизни: обещания иных власть держащих превращаются в какофонию звуков, которую слышит только ближайшее окружение. Они-то хорошо знают цену этим посулам, но будут молчать, т.к. прекрасно понимают, что без ржавой пружины и они никому не нужны.

И только нам, простым смертным, стоящим на огромном отдалении, вместо скрежета слышится чарующая мелодия, которая обволакивает нас, наполняет наше существо тончайшим зефиром наслаждений и уносит в ту волшебную страну, которая называется сказкой.

Как часто, слушая обещания того или иного руководителя, мы не в состоянии услышать ржавую какофонию, несущую нам только ложь и лицемерие.

«Люди, будьте бдительны».

ЛЕОНИД ЛЕЙКАХ

«Он из Германии туманной»?

*Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный.
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.*
А. С. Пушкин

Эта часть строки VI строфы II главы «Евгения Онегина» – *из Германии туманной* – встречается теперь нередко (в печати) как устойчивое словосочетание. Оно должно содержать, по-видимому, «климатическую» характеристику Германии, в подражание выражению «Туманный Альбион».

Однако в Германии легко убедиться, что туманных дней здесь совсем мало, намного меньше, чем в средней России и тем более на северной болотистой Псковщине, где писал «Онегина» Пушкин и куда ко времени известного конфликта привезли плоды своей учености и Онегин, и Ленский. И в Одессе, где тоже писался «Онегин», туманов более чем достаточно («В тумане скрылась милая Одесса»). Казалось бы, оснований для выделения германских туманов у Пушкина не могло быть. Но тогда возникает сомнение – имел

ли Пушкин в виду действительно климат Германии, как полагают многие авторы и редакторы, и как воспринимают, кстати, пушкинский текст многие переводчики на другие языки, включая немецкий?

Существует высший авторитет в этой области – Юрий Лотман. В своих знаменитых комментариях к «Онегину» (вышедших уже после известных комментариев Н. Бродского и В. Набокова) он, действительно, дает другую трактовку – не климатическую. Лотман пишет:

– *«Он из Германии туманной...»* – В такой редакции стих связывал образ Германии с романтизмом. Эта связь установилась со времени выхода книги де Сталь «О Германии».

Действительно, может существовать глубоко упрямая связь между понятиями – романтический и туманный. Туманный это неясный, расплывчатый, завуалированный, что, вроде бы, свойственно романтизму.

Но здесь возникает ряд сомнений.

В посвящении к «Онегину» Пушкин намеревался обращаться к «..Поэзии живой и ясной..», а тут ассоциация далеко не для всех могла бы быть ясна.

Сомнение и в другом: следующая строка – «Привез учености плоды: ...» должна была бы звучать тогда иронически по отношению к Ленскому. «Ученость» чаще всего звучит в русском языке по отношению к взрослому уничижительно или с насмешкой: «..ученость – вот причина...», «бесплодная ученость». А словосочетание «учености плоды» – и более того. «Плоды просвещения» – заведомо насмешливо-уничижительное заглавие обличительной комедии-сатиры Льва Толстого. Представляется, что ирония была бы у Пушкина неуместна по отношению к Ленскому – влюбленному юноше-поэту, жертве нелепого спора. (Будь это ирония, П. И. Чайковский, возможно, не стал бы писать оперу!)

Следующие за двоеточием стихи – «Вольнолюбивые мечты, / Дух пылкий и довольно странный, / Всегда восторженную речь / И кудри черные до плеч» – да разве это как-то похоже на учености плоды? Плоды сухой учености делают человека совсем другим. Другое дело – была бы какая-то оговоренная необычная ученость.

Слышится неполной строка – «Привез учености плоды». Не хватает определения – какой «учености» плоды?

Ю. Лотман обращает внимание на то, что в черновой редакции этот стих звучал по иному – «Он из Германии свободной ...». Но мог ли Пушкин, хоть и в поэтическом контексте, отнести эпитет «свободный» ко всей Германии? В то время Германия состояла из 36 отдельных государств, которые, за исключением четырех, были абсолютными монархиями. Пруссия входила в реакционный Священный союз, подавлявший все свободолобивые начинания. У Гейне в тот же период (1826г.) в «Путевых картинах» оценка противоположная: «Англичанин любит свободу, как свою законную жену <...>. Француз любит свободу, как свою невесту. Немец любит свободу, как свою старую бабушку». И далее, в заключении к «Путевым картинам» (1830г.) – «...я замечаю уже, как незримо воздвигаются более непроницаемые тюремные стены вокруг германского народа. Бедный народ – пленник! Не отчаивайся в своем несчастье». Не очень-то это соответствует «Германии свободной».

Остается предположить, что Пушкин имел в виду в черновике не свободную Германию, а «свободной учености плоды», привезенные «поклонником Канта» Ленским из Германии. Как указывает тот же Лотман, многие германские университеты отличались свободомыслием. Особенно – Геттингенский, где и учился Ленский. И тогда следовало бы, что он привез из Германии плоды свободной учености.

Если это так, то, заменяя в чистовом варианте «свободной» на «туманной» (опасаясь цензуры) Пушкин вряд ли мог одновременно перенести смысл эпитета на другое слово – с «учености» на «Германию». Тогда и в чистовом варианте следует понимать – «туманной учености плоды», из Германии привезенные. В таком понимании ирония относится уже не к Ленскому, а к немецкой учености. В представлении Пушкина могли соседствовать взгляды на немецкую ученость и как на свободную, и как на туманную. И вот почему.

По данным Ю. Лотмана, Пушкин был знаком с немецкой ученостью хотя бы по лекциям кантианца и шеллингианца А. Галича. По сравнению с распространенной в России и усвоенной Пушкиным в Лице французской ученостью (прозвище его было «француз») – философией энциклопедистов, Вольтера и Руссо, германская ученость – классическая немецкая философия Канта, Шеллинга, Шопенгауэра действительно могла представляться туманной. Первая известная в России книга Шопенгауэра называлась «О четвероюм корне закона достаточного состояния». Ламброзо впоследствии квалифицировал источник творчества Шопенгауэра как «душевную болезнь в стадии обострения».

Вот как излагает Пушкин свое отношение к немецкой философии в 1827 г. в письме к Дельвигу: «Ты пеняешь мне за Моск. вестник – и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее; да что делать? собрались ребята теплые, упрямые (в Московском вестнике. – Л. Л.); поп свое, а черт свое. Я говорю: господа, охота вам из пустого в порожнее переливать – все это хорошо для немцев, пересыщенных уже положительными познаниями, но мы ...» (подчеркнуто мной. – Л. Л.)

Поколение Пушкина еще не прониклось достаточным уважением к немецкой философии – она завладе-

ла умами в России только во второй половине XIX века. В русской литературе пушкинского времени легко найти иронические оценки немецкой философии. Современник Пушкина, популярный в то время писатель К. Масальский, в повести «Дон Кихот XIX века» называет «рыцарем туманной философской фигуры» одного из героев – приверженца философии Шеллинга. Также и В. Белинский относился к немецкой философии отрицательно, постоянно критиковал ее, а в одной статье 1835 года написал так: «Явились новые надуватели – немецкие философы ...».

Еще более определенно высказывался Г. Гейне в письмах из Парижа, собранных под заголовком «Лютеция». В письме 1842 года он пишет: «Большинство французов продолжает считать Канта туманным, если не отуманенным мечтателем, и недавно в одном французском романе я встретил фразу: «*le vague mystique de Kant*!»»

Как видим, у современников Пушкина лексика, касающаяся немецкой философии, сходится с определением «туманной германской учености» у Пушкина.

Недоразумения с данным текстом вызваны, по-видимому, инверсией – одним из волшебств великого поэта. Вот другие примеры из Пушкина: «Минутных жизни впечатлений / Не сохранит душа моя ...», или – «Под вечер, осенью ненастной, / В далеких дева шла местах ...»

Изложенное – не более чем версия, возможно, уже ранее высказанная и отвергнутая (поскольку в издание Ю. Лотмана 1983 г. не попала, а он кое-где опровергает комментарии предшественников). Но сам же Лотман писал: «Исчерпать онегинский текст невозможно. Дело в том, что литературное произведение, пока оно непосредственно волнует читателя, живо, то есть изменчиво. Его динамическое развитие не прекра-

¹ Мистическая туманность Канта (фр.)

тилось, и к каждому поколению читателей оно обращается какой-то новой гранью. Из этого следует, что каждое новое поколение обращается к произведению с новыми вопросами, открывая загадки там, где прежде все казалось ясным.”

Многозначность пушкинского текста – не помеха для тех, кому русский язык – родной. Но для иноязычных читателей, в первую очередь самых внимательных из них – переводчиков, она создает существенные трудности. Как правило, переводчики не осмеливаются отступить от буквального прочтения. У них остаются (в обратном переводе): «... из германских туманов ...» (Theodor Commichau,DDR), «... из туманной Германии» (Kay Borowski. Stuttgart.1972), «... из немецких туманных пространств...» (Johannes von Guenther. München. 1966). В юбилейный 1999 год маститый переводчик и пушкинист Rolf-Diedrich Kein переводит – «Привез он из германских туманов с собой / Плоды учености».

Но есть и другие переводчики – Ulrich Busch (Zürich. 1981), Manfred von der Ropp (München. 1972). Они усомнились, видимо, в туманах и вовсе вывели из своих переводов упоминание о туманной Германии – от греха подальше. Лотмана все приведенные переводчики проигнорировали.

Итак, предлагается по-русски читать:

«Он из Германии <пауза> туманной / Привез учености плоды: Вольнолюбивые мечты ...»

И переводить – соответственно.

ПЕРЕВОДЫ

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

Баллада примет

(Из Франсуа Вийона)

Я знаю, у кого где зад, где голова.
Кто за улыбкой подлость лихо прячет.
Как многоточием мне заменить слова.
Кто слезы льет и кто душою плачет.
Могу определить, кто честен и кто плут,
Плоды какие созревают в мае.
Кто стоит пряника, по ком скучает кнут.
При этом я себя, увы, не знаю...

Могу я отличить от правды ложь.
Какая у кого шальная дума.
Кто под плащом хранит дамасский нож,
И как терзает жадность толстосума.
Я безошибочно по взгляду узнаю
Того, кто ром предпочитает чаю.
Чьи рассуждения равняются нулю.
При этом я себя, увы, не знаю...

Могу предупредить желанья Беатрис.
Почувствовать грустинку Марселины.
Я вовремя преподнесу сюрприз
И тайн, и недомолвок список длинный.
Я трактовать берусь замысловатый сон
О тех, кто не дошел, свалившись с краю,
Желая раздобыть почет и трон.
При этом я себя, увы, не знаю...

Я Вам откроюсь, принц, что смог бы обучить
Уменью жить всю человечью стаю.
И даже протянуть по бездорожью нить.
Вот только жаль, что я себя не знаю.

С французского

Божественный огонь

(Из Исаака Мегре)

*Иерусалим. Открытие горящего куста
ошеломило ученых...они предполагают,
что Бог намеревается говорить с народом.
(из израильских газет)*

Опять меня влечет таинственность пустыни
и гром в горах, и молний яркий блиц.
Божественный огонь, горящий здесь отныне,
перед которым вмиг готов упасть я ниц.

Божественный огонь увидел я нежданно.
Я думаю, что он посланец высших сил.
Явился он сюда опять небесной манной.
Знамением что нас Господь благословил.

Божественный огонь пылает и искрится.
Как воздух чист, хоть и дотла сожжен.
Ужель не верящий и тут не удивится? -
и изменив свой взгляд поверит в Бога он.

Тут арка радуги блеснет на небосклоне.
И от нее вокруг еще красивей вид.
От этих цветowych божественных гармоний
не отвести мне взгляд. Все тянет и манит.

Огонь по кругу мчит. Огонь корёжит листья.
Но не сжигает их. Они еще живей.
Огонь стоит столпом, свивая землю с высью
и в пепел превратив тщету в душе моей.

Я знаю, Он придет, как медом полня соты
уоставших душ людских надеждой и мечтой.
О, Боже! Отвори для страждущих ворота
И ливнем солнечным и добротой омой!

Мне слышатся шаги Бессмертного в пустыне.
Божественный огонь нам продолжай сверкать.
И мысль моя о Нем, о нашем властелине,
готов всегда к Нему молитву повторять.

.....

О. Отзовись Моисей! Бог вновь зовет Тебя.

С грузинского

Этна

(Из Тристана Корбьера)

Я поднялся к тебе, Везувий, –
ты подарил прохладу мне.
Но я на собственной спине
ее к себе перевезу ли?..

Величествен ты и вечен –
Тебе все это нипочем.
В тебе бушует горячо
твой кратер –
он всегда беспечен...

Колдуешь, беснишься, бурлишь,
отрыгиваешь лавы смерти.
И действия твои, поверь ты,
улыбку вызывают лишь.

Я – Этна, Твой собрат и друг.
Ты для меня предмет восторга.
Но вспышкам безобразных оргий
не мне внимать.
Ты - мой недуг.

Я поднялся к тебе, Везувий, –
проникнуться твоей судьбой,
но от общения с тобой
нисколько я не стал безумен.

С французского

АЛЬФРЕД ХОДОРКОВСКИЙ

Путь жизни (Из Генриха Гейне)

Песни и смех! Яркое солнце сияет.
Море весёлую лодку качает.
Сел я с друзьями в ту лодку – и вот
вместе плывём мы, не зная забот.

Шторм разломал нашу лодку с гребцами.
Друзья оказались плохими пловцами:
в водах родных опустились на дно –
мне на чужбине спастись суждено.

Но вот я с другими всё начал сначала.
И новое судно пучина бросала.
Нас волны чужие несут по свету.
Как тяжело на сердце! Родина, где ты?

Снова мне слышатся пенье и хохот –
это свист ветра, треск досок и грохот.
Гаснет печально звезда на рассвете...
Как тяжело на сердце! Родина, где ты?

С немецкого

СЛОВО

(Из Давида Сфарда)

Я хочу породниться с мечтой,
чтоб её воплотить навеки
в моих песен звенящий строй,
в моих лет убегающих веки.

Нет богатства и денег нет,
только словом одним владею.
Я его до последних лет
на дорогах крутых лелеял.

В моё сердце его приму,
напою моей кровью слово.
И для вас сквозь ночную тьму
оно путь осветить готово.

С немецкого

ЧЁРНЫЙ ЯЩИК

(Из Расула Гамзатова; фрагмент)

Мой Дагестан! Святой мой Дагестан!
Твой путь уходит зримо в бесконечность,
но пал мой конь от нанесённых ран,
который до сих пор служил мне безупречно.

Теперь несущ седло я на спине.
Пойдёшь ли ты со мной в места святые,
чтоб отмолить грехи в заветной тишине
в надежде на пришествие мессии?

Я как чабан, на стадо чьё скалу
обрушила стихия. На вершине
кричу: «Эй ты, внизу идущий по селу!
Отары лет моих не видел ныне?

Тех лет, которые по свету разбрелись?»
Пылает самолёт. Без парашюта
лечу я, кувыркаясь, вниз.
Идёт к концу последняя минута.

К тебе я обращаюсь, юный друг:
– Ты поищи мой чёрный ящик жизни!
Тебе заняться этим недосуг?
Я говорю, поверь, без укоризны.

Нет времени? И это не каприз?
Наш путь – фуникулёр. И жизни ход измерен.
Знамение судьбы? Нет, я не суверен.
Твоё движенье – вверх, моё движенье – вниз.

С аварского

(Из Эльзы Ульмер)

В тебе – моя любовь.
Скажи мне, тяжела?
Испарина на лоб
росинками легла...
Сегодня твой бокал
неналитым стоит,
и голова моя
в ночной тиши болит.
И так далёк рассвет.
Был твёрд твой шаг...
Безлюден мир,
в тисках душа.
О, плети рук моих!
Как подниму я их?

С немецкого

МАРК ШЕЙНБАУМ

Время

(Из Людвиг Тика)

Не по прямой, а в вечной круговерти,
От самого рожденья и до смерти
Свой слепо соблюдая ритуал,
Манит оно, лишь обещая идеал.
И счастья ждем с мгновенья на мгновенье,
А время мчит, не зная снисхожденья.
Днем солнце нашу землю освещает,
Луна наш сон ночной оберегает.
Часы летят, сменяются недели,
А что меняется вокруг на самом деле?
Лишь в нас живет изменчивое время,
Для случая и счастья зреет семя.

С немецкого

Фуга смерти

(Из Пауля Целана)

Мы вечером пьем рассвета черное молоко
пьем мы его и пьем
мы в воздухе роем могилу ведь там не тесно лежать
Мужчина в доме живет играет со змеями пишет
лишь стемнеет в Германию пишет Маргарита волос
твоих золото

он пишет выходит из дома и звезды блестят он свистом
зовет своих псов
свистит он своим жидам копайте в земле могилу
он кричит нам сыграйте для танца

Мы вечером пьем рассвета черное молоко
мы пьем его в полдень и утром мы пьем его по ночам
пьем мы его и пьем
Мужчина в доме живет играет со змеями пишет
лишь стемнеет в Германию пишет Маргарита волос
твоих золото
Суламифь волос твоих пепел мы в воздухе роем могилу
ведь там не тесно лежать
Кричит он копайте поглубже раз-два играйте и пойте
достает он клинок из-за пояса он размахивает глаза у
него голубые
вонзайте поглубже лопаты раз-два играйте для танца

Мы вечером пьем рассвета черное молоко
мы пьем его в полдень и утром мы пьем его по ночам
пьем мы его и пьем
Мужчина в доме живет Маргарита волос твоих золото
Суламифь волос твоих пепел со змеями он играет

Смерть играйте приятней кричит он смерть это мастер
немецкий
кричит он поглуше на скрипке и как дым он возносится
в воздух
там могила у вас в облаках ведь там не тесно лежать

Мы пьем тебя ночью рассвета черное молоко
мы пьем тебя также в полдень смерть это мастер
немецкий
мы пьем тебя утром и вечером пьем мы тебя и пьем
смерть это мастер немецкий глаза у него голубые
убивает он пулей свинцовой без промаха он попадает
мужчина в доме живет Маргарита волос твоих золото
он спускает на нас своих псов и в воздухе дарит могилу
он мечтает играет со змеями смерть это мастер
немецкий
Маргарита волос твоих золото
Суламифь волос твоих пепел

С немецкого

О том, чем именно в Польше
должен обладать историк
(Из Тадеуша Бой-Желенского)

Смотрела Академия, как обычно в мае:
кто пером Отчизну лучше прославляет?
Вот труды Томковича, вот труд Ашкенази,—
только недостаточно тут одной бумаги...
Коллегия недолго судила-рядила:
сразу претендентов в баню пригласила,
где решать и будут члены Академии,
кто из них обоих достоин сей премии.
Разместились судьи по лавкам, по полкам,
разглядеть желают кандидатов толком.
Пред ними Томкович гордо выступает,
Ашкенази ж тихо в уголке рыдает.
Смотрят на них судьи: Боже ты наш милый,
как же их по-разному природа наделила!..
«Поглядите только! — главный произнёс.
— Ашкенази до премии явно не дорос!»
К Ашкенази кинулось судейское воинство,
изучает тщательно все его достоинства
и решает: «Премия тем лишь присуждается,
у кого повсюду всё как полагается!»
Порозовел Томкович, за это награждённый,
и пошёл в предбанник надевать кальсоны.
Плохо Ашкенази: нет на свете средства,
чтоб вернуть ту малость, что отняли в детстве.

С польского

Эта сатирическая миниатюра для кабаре была написана в 1909 году в связи с тем, что Краковская академия наук и искусств не присудила профессору Ашкенази премию за лучшую работу по истории Польши только потому, что он еврей.

Ашкенази сказал: «При таком подходе Академия должна рассматривать не труды претендентов, а кое-что иное...»

Тадеуш Бой-Желенский (1874-1941) — польский писатель, поэт, переводчик и критик, по профессии врач. Прославился переводами с французского. Его перевод Мольера в 1914 г. признан Французской академией лучшим переводом на иностранный язык. В 1927 г. Бой-Желенский был награжден орденом Почетного Легиона.

Убит эссовцами батальона «Нахтигаль» во Львове.

ДАВИД ЯНОВСКИЙ

Слепая (Из Р.М.Рильке)

Незнакомец:

Тебе не трудно говорить об этом?

Слепая:

Нет.

Всё было так давно, и то была другая,
Которая жила легко и шумно, и видела тогда,
И умерла.

Незнакомец:

И смерть была тяжёлой?

Слепая:

Смерть – надругательство над безмятежным.
И надо сильным быть, коль умирает даже
посторонний.

Незнакомец:

Она чужой тебе была?

Слепая:

Вернее, стала.
Смерть делает чужими даже днтя и мать –
Сначала это было очень страшно.
Сплошную раной стало моё тело. Мир,
Который цвёл и зрел вокруг,
Был вырван, показалось мне, с корнями
И сердцем из меня, и я лежала,
Подобно голой вскопанной равнине, и пила
Холодный ливень слёз моих,
Что непрерывно медленно струился

Из мёртвых глаз. Так облака спадают
С пустого неба в час кончины Бога.
И слух мой острым стал и для всего открытым.
Я слышала неслышимые вещи:
И время, что текло по волосам моим,
И тишину, которая звонила в хрустальные
бокалы.

Я ощущала возле рук моих
Дыхание огромной белой розы.
Я думала: всё время ночь и ночь;
Казалось мне: полоску видно стало,
Которая начнёт, как день, расти,
И мне к заре хотелось подойти,
Которая давно в руках моих лежала.
Когда тяжёлый сон, как талая вода,
Стекал с лица, оставив тёмный след,
Я мать звала: «Иди скорей сюда!
Зажги мне свет!» И вслушивалась.
Долго всё молчало,
Моя подушка словно каменела,
Потом как будто что-то посветлело:
То мама горько надо мной рыдала,
Но я об этом думать не хотела.
«Света! Света!» – кричала я часто во сне. –
«Помоги! Пространство обрушилось мне
На грудь и лицо. Убери его!
Ты должна его высоко поднять,
Должна его снова звёздам отдать;
Я не в силах жить и небо держать на себе!
Но я тебе говорю, мама?
Нет, так кому же? Себе сама?
Кто там за занавесом? Зима?
Мама, буря? Мама, ночь? Дай ответ!»
Или: день?.. свет!
Без меня! Как может быть день без меня?
Я нигде не нужна?
Никто не грустит обо мне?
Неужели мы всеми забыты?
«Мы»? – но ведь ты же там,
Ты всё имеешь, не правда ль?
Тебе все вещи хотят помочь,
Добра желают.
Когда твои глаза отдыхают,
Даже если очень они устали,
Они могут открыться опять.

...моим суждено молчать.
Мои зеркала замёрзнут без ласки,
Мои цветы потеряют краски.
Строки в книгах зарастут.
Птицы мои разлетятся по городу,
Будут метаться и биться
В чужие окна с тоской.
Я от всего на свете отколота,
Стою одинокой скалой. –
Я остров.

Незнакомец:

А я через море сюда добрался.

Слепая:

Как? На остров?.. Ты перебрался?

Незнакомец:

Я ещё в лодке.

Я тихо к тебе причалил.

Лодку качает. Прибой её залил:

Её знамя реет высоко.

Слепая:

Я остров, и я одинока.

Но я богата. –

Сперва, когда тропы старые были

В нервах моих под слоями пыли

Ещё изрыты следами желаний, -

Была я во власти страданий.

Всё ушло из сердца моего,

Мне сперва был неведом путь,

Потом я всё же нашла его,

Все мои чувства, вся моя суть

Стояли толпою, кричали и рвались

К моим замурованным неподвижным глазам.

Все мои обманутые чувства...

Не знаю, года ли они так стояли,

Но помню я те недели,

Когда обратно они прилетели

И никого не узнали.

Затем дорога к глазам заросла,

И я её позабыла

Теперь всё во мне было

Спокойно.

Как после болезни опять

Чувства шли, наслаждаясь движеньем

Сквозь тёмное здание тела.

Одни остались читать

Книгу воспоминаний,
Но проросли
Молодые побеги.
И где они выступили наружу,
Одежда моя – из стекла.
Лоб мой видит, рука легла
Стихами в руки других людей.
Ноги мои говорят с камнями.
Любуясь птичьими голосами,
Я повторяю их в песне своей.
Я всё имею, теперь я не та,
переведены все цвета
В ароматы и звуки.
И звенят они нежно,
Как трели.
Что мне в книжной науке?
В деревьях под ветром шумит листва;
Я знаю, какие там скрыты слова,
И часто тихо их повторяю.
И смерть, что срывает глаза как цветы,
Не вырвет глаз моих пустоты.

Незнакомец:

Я знаю.

С немецкого

* * *

(Из Р.М.Рильке)

Смерть велика.
Мы все во власти
её смеющегося рта.
Когда нам кажется: мы в счастье,
она в нас плачет от участия,
и не боится ни черта.

С немецкого

Пантера (Из Р.М.Рильке)

Взгляд так устал от вечного хождения,
что внутрь не пропускает даже свет.
Пред нею тысяч прутьев наваждение,
ей кажется – за ними света нет.

Могучим шагом мягко и упруго,
она в квадрате крохотном кружит.
Так в танце сила движется по кругу,
где в центре воля мощная стоит.

И лишь порой перед зрачком бездонным
взлетит завеса. Образ внутрь войдёт.
Пройдёт волной по членам напряжённым
и в сердце тихо пропадёт.

С немецкого

Только две вещи (Из Готфрида Бенна)

Идём сквозь Я, сквозь Мы и Ты,
Сквозь сотни образов и схем,
Но вечно губит все мечты
Один простой вопрос: «Зачем?»

Вопрос, конечно, детский, но
Поймёшь ты это только позже;
Молву, болезнь, страстей вино
Поможет пережить одно -
Твой тайный приговор: «Ты должен!»

Исчезнет мира красота -
И снег, и розы, и моря.
Есть лишь две вещи: пустота
И отчеканенное Я.

С немецкого

* * *

(Из Феликса Брауна)

Скажи: ведь непонятней нет напасти:
Грустить о людях тех, что и не жили,
И те события, что не происходили
Переживать со всею силой страсти.

Мне этой тайны суть не разгадать:
В упругой тишине над строчками склоняться
И, затаив дыханье, удивляться,
Что кто-то мог так думать и мечтать.

Последнюю страницу прочитав,
В глубоком кресле сладко потянуться,
Откинуться, сквозь слёзы улыбнуться,
И вновь листать, на миг ребёнком став.

Стихи, звучащие как звон колоколов,
Часами напевать, шагая, как в тумане:
В них целый мир и счастья, и страданий,
Хоть ветер их уносит в царство снов.

С немецкого

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Леонид Бердичевский	5
Елена Ещенко	12
Пётр Заманский	23
Мальвина Зор	26
Маргарита Их	32
Леонид Кац	40
Михаил Лурье	44
Семён Лурье	46
Генриетта Ляховицкая	50
Анна Осмоловская	52
Анатолий Пакулов	63
Анжелла Подольская	64
Альфред Ходорковский	78
Борис Черепашенец	86
Марк Шейнбаум	94
Ульяна Шереметьева	105
Михаил Эненштейн	108
Давид Яновский	122

ЭССЕИСТИКА

Карл Абрагам	127
Генриетта Ляховицкая	141
Марлен Глинкин	145
Семён Панчешников	161
Леонид Лейках	163

ПЕРЕВОДЫ

Леонид Бердичевский	171
Альфред Ходорковский	174
Марк Шейнбаум	177
Давид Яновский	180

В этом номере альманаха наряду со знакомыми – имена новых авторов и новые разделы: «Эссеистика», «Переводы».

Прозаики и поэты стараются передать читателям не только свою эмоциональную, но и более углубленную оценку людей, событий, впечатлений, – и, подобно витражу, сложенному из множества кусочков стекла, то больших, то маленьких, то ярко насыщенных цветом, то прозрачных, открывается перед читателем невыдуманный мир прошлого и настоящего – мир смешной, грустный, трагический, ужасающий... Будни войны и будни современного германского «шпильхалле»; подсмотренные когда-то сценки быта оставшейся далеко-далеко страны и нынешние берлинские картинки «нарочно не придумаешь»; и, конечно же, любовь, любовь, любовь... А переводы таких сложных немецких стихотворцев, как Рильке и Целан, распахивают двери в неизведанное, – может быть, четвертое или пятое измерение...

Говорят: «Если можешь не писать – не пиши!». Авторам, собравшимся под обложкой альманаха, есть чем поделиться со своим читателем, и не писать они не могут.